**КЛИЧ И КЛЮЧ**

В сентябре шестьдесят четвёртого года, Драконьего, щедрого на события разномастные, непрерывно, сплошной чередою, догоняющие, сменяющие, настигающие друг друга, чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий узел, морской ли, мирской ли, неизвестно, в энергетический, раскалённый, сияющий шар, вновь разжаться, с пружинистой силою, завитком спирали незримой, вмиг раскрыться цветастым веером удивительных совпадений и негаданных происшествий, сплошь и рядом идущих об руку с постигаемой не по книгам, но вплотную, слишком уж близко, чтоб не видеть её воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не запомнить её, таинственной и простой, как и всё хорошее и достойное в мире этом, без придумок ненужных, без баек непотребных, со слов чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, личной сызмала яви, ехал я на встречу с поэтом, широко известным в столичной многолюдной среде богемной, из отчаянных удальцов и героев, из общих любимцев, из птенцов, едва оперившихся, но уже подающих голос, из отъявленных сорванцов, из талантов, для всех очевидных, из певцов, молодых да ранних, так поющих, что их не заметить невозможно, и впрямь хороши, да и редкость это большая, уж тем более в наше время, не принять их нельзя, с приязнью, и, с восторгом, не полюбить, ведь богема на то и богема, чтоб уметь себя ублажать, чтоб уметь выделять своих, приглянувшихся ей не случайно и вписавшихся с ходу в неё, бравых, в доску своих парней, с перспективой необычайной на потом, – с Леонидом Губановым.

Восемнадцатилетний, всего-то, подчеркну это снова, сознательно, чтобы видеть давнишний свой возраст с башни многих прожитых лет, (восемнадцатилетий, уже, Боже мой, как летит моё время, вырывалось невольно встарь), – я давно ощущал себя взрослым.

Поколение послевоенное моё, всё разом, без лишней рефлексии, без промежуточного топтания, так, для порядка, на месте, чтобы подумать о чём-то сугубо практическом, полезном, трезвом и здравом, с точки зрения наших родителей или школьных учителей, как-то слишком уж быстро, без всяких колебаний, сомнений, прикидок, размышлений невразумительных, стремительно повзрослело, и уступать завоёванные, с бою, с ходу, с налёту, позиции, нам и в голову не приходило.

Мы старались избавиться всячески, любым из возможных способов, от опеки ненужной над нами, от назойливого надзора, от всего, что явно попахивало заурядностью и обыденщиной.

Наставления и советы воспринимались в полной готовности отразить их, в сраженье, в атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти усваивались, осмысливались нами, как нечто не очень-то приятное, исходящее из той бытовой обязаловки, той приглаженной и прилизанной, ненавистной нам положительности, той советской, всем понемногу, и достаточно, уравниловки, под присмотром и под контролем наблюдающих за порядком повсеместным в державе нашей неусыпно и неустанно, днём и ночью, почти незримых, нелюбимых, необходимых и всесильных каких-то, вроде бы, говорили с опаской, органов, или, может, властей кремлёвских, потому что не знали толком, где там органы, где там власти, что за органы, что за власти, что за птицы и что за страсти, кто их, в общем-то, разберёт, если знают всё наперёд, в светлом будущем обещают оказаться в кратчайший срок, но читают все между строк, да ещё голоса вещают зарубежные обо всём, что в стране у нас происходит, и тоска на людей находит, и с надеждой сплошной облом, говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на Руси, что за ужас во всём Союзе, поверять остаётся музе настроенья свои, уравниловки мы чурались, нивелировки, стрижки всех под одну гребёнку, строевой, командной послушности, шаг назад, шаг вперёд, на месте, вправо, влево, стой, запевай, поднимайся, в ружьё, на службу, в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в лифты, в тайгу, к облакам, глубже, выше, смелей, и так далее, от нелепой и неизбежной жизни в обществе долгой лжи, с малых лет до седых волос, и мещанской благопристойности, от которых мы, как умели, отбояривались, отмахивались, да и просто бежали –   
прочь из чуждой духу желанного, блаженного свободомыслия, ненавистной, обрыдлой нам канцелярской, казённой системы.

Конечно, был я тогда очень молод, слишком уж молод.

Но я, сколько помню себя, всегда, по чутью, тянулся к тем, кто были старше меня и могли открыть мне однажды что-то важное для души, что-то новое, прежде незнаемое.

Добрых три года я мыслил самостоятельно, сам принимал решения и совершал поступки, многие из которых и теперь, посреди междувременья, представляются мне достойными, а порою даже значительными.

Разумеется, было немало промахов и ошибок, огорчений, разу-  
верений, нелепостей всяких досадных, но возраст мой был таков,   
что, при отсутствии полном учителей и наставников, я вынужден был искать и сам находить всегда то, к чему влекло меня сызмала романтически бурное, грозное, иногда не на шутку опасное, но зато упоительно вольное, без оков, течение жизни, как мне думается, действительно удивительной и прекрасной.

Было мне от роду братцы, не просто ещё восемнадцать, но уже восемнадцать лет и семь дополнительных месяцев.

Тогда и эти, наперечёт, месяцы, очень любили счёт и тоже имели значение.

По причине быстрого, слишком или в меру, кто как считал, на авось полагаясь, взросления.

Тогда я уже добился поставленной загодя цели и поступил учиться на престижное, элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочими, уж во всяком случае стоящее и достойное отделение истории и теории искусств, это было главным, что меня привело туда, исторического факультета серьёзного заведения учебного, МГУ.

То есть стал, по-студенчески, вольно, по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-человечески, замечательно, жить в Москве.

Парижа, как я всегда в книгах своих подчёркиваю, у нас, к сожалению, не было, а вот Москва, распрекрасная столица странноприимная, по счастью, у нас была.

И она звала, отовсюду, из различных мест многовёрстной, многозвёздной нашей страны, и тянула к себе столь властно, что противиться ей, столице, было всем нам уже невозможно, и она собирала вместе нас, вчерашних провинциалов, постепенно и неуклонно становящихся москвичами, привыкающих здесь обитать и работать, по-своему каждый.

Отовсюду в Москву съезжались люди творческие, азартные, для которых не подходили никакие мерки стандартные, те, которым хотелось общения настоящего и внимания, те, которые были отважны и к невзгодам готовы заранее.

И Москва принимала – всех.

И спасала – всех, без разбора.

Был возможен в грядущем – успех.

Он придёт ли? Пожалуй, не скоро.

А пока что – пиши, поэт!

А пока что – рисуй, художник!

Вот он, ясный вечерний свет.

Вот он, тихий осенний дождик.

Всё – для вас. Для таких, как вы.

Всё – для творчества. Для открытий.

Для незримых духовных нитей.

В этом – самая суть Москвы.

Я жил на Автозаводской улице, в старом, крепком, невысоком, с толстыми стенами и большими окнами, доме довоенной добротной постройки, отдалённо напоминающем упрощённый конструктивизм.

В обжитой коммунальной квартире у меня была, пусть и временная, ненадолго, да всё же своя, так хотелось мне думать, комната. Принадлежала она симпатичной московской тёще генерала с необозримыми перспективами и возможностями, наперёд, на потом, Ивана Александровича Герасимова, начальника криворожского гарнизона, фронтовика, человека закваски крепкой, волевого, честолюбивого и способного на решительные, непредвиденные поступки, что сказалось несколько поз-  
же, когда он помог мне в беде, и отца моего приветливого одноклассника Саши Герасимова.

Был в квартире и телефон, правда, общий, но всё-таки был, и его наличие радовало, а случалось, и выручало. Была, разумеется, ванная, просторная общая кухня.

Но главное в этом роскошестве – была у меня своя комната.

Почему-то приятно теперь мне о давнишнем пристанище этом, с добрым чувством, порой вспоминать.

Я учился в университете – и гордился этим. Студент!

Я уже ощущал себя москвичом – и это вот было, зачем такое скрывать, приятное ощущение.

И вот сегодня, сентябрьской порою, в час предвечерья, мне, москвичу новоявленному, надо было ехать на встречу с незнакомым, пока что, хорошим, наверное, человеком.

Я набросил свой синий плащ, байроновский, романтический, как хотелось мне искренне верить, или, проще, воображать, на плечо закинул ремень потёртой лёгонькой сумки, закрыл за собой поплотнее скрипучую дверь квартиры, быстро сбежал по ступенькам пропахшей всеми возможными, коммунальными, стойкими, запахами, щербатой лестнице вниз и вышел из темноватого подъезда в просторный двор, заросший большими, старыми, устойчивыми деревьями.

Прошёл мимо нашей булочной, мимо стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого сквера, к перекрёстку, затем перешёл дорогу и, торопясь, зашёл наконец в метро.

Там, бросив пятак свой звякнувший в щёлку пропускника, я спустился на эскалаторе к платформе, вмиг заскочил в вагон как раз подошедшего, сверкнувшего стёклами поезда и поехал в сторону центра.

Встречи тогда назначались нашей богемной братией в четырёх привычных местах: у памятника, с фонарями и цепями чугунными, Пушкину, у памятника Маяковскому, на углу в столице известного всем и каждому «Националя» и в уютном университетском дворе, со скамейками вдоль старой высокой ограды, с деревьями, со студентами оживлёнными, на Моховой, именуемом «психодромом».

Недавно сказал мне поэт, знаток московской богемной жизни, Саша Юдахин:

– С тобой, представь себе, хочет познакомиться Лёня Губанов.

Я, хоть и слышал уже, конечно, о нём, нарочно, удивляясь, вроде, такой информации, поднял брови:

– Кто это? Не припомню.

Юдахин сознательно выдержал небольшую, но, по его мнению, по-актёрски, эффектную, видимо, паузу и только тогда уж сказал:

– Самый талантливый, так считают разные люди, поэт молодой в Москве.

– Ну, это мы ещё посмотрим, кто же в Москве талантливее! – мгновенно отреагировал я.

– Нет, я ведь не утверждаю, говоря о Лёне, что он талантливее тебя, –   
поправился тут же Юдахин. – Сам ты очень талантливый. Но ты-то в Москве недавно совсем. А Лёня москвич. Его уже знают здесь.

– И меня уже знают здесь, – сказал, сощурившись, я.

– Вы оба самые-самые талантливые в Москве, – обобщил, улыбаясь, Юдахин. – Я уже рассказывал Лёне о тебе. И другие ребята ему о тебе говорили. Он хочет с тобой повидаться. Давай я вас познакомлю.

– Хорошо, – сказал я, – знакомь.

– Я тебе скоро, Володя, позвоню, – подытожил Саша.

И вот, через день буквально, Юдахин мне позвонил:

– Договорился. Где встречаемся? Прямо сегодня.

– Лучше всего – у памятника Пушкину. Так привычнее, – без раздумий ответил я.

– Когда? Говори конкретно.

– Вечером, в семь.

– Идёт.

Пришлось, ничего не поделаешь, мне собираться и ехать.

Кто такой Саша Юдахин – объяснять никому не надо. Поэт. Человек общительный. Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. Спортивный. Свой парень, во многих кругах и компаниях. Энергии в нём предостаточно. Все его знают – и он всех поголовно знает. Он в облаках не витает. Он трезв – и восторжен: публично. Всё складывается отлично. Публикации. Выступления. Путешествия. Впечатления. На коне он, это заметно. Потому и смотрит победно. Между тем он раним, по-своему. Реагирует на обиды. Но – защитное что-то усвоено. И – привык не показывать виду. И когда-то, в года молодые, то же самое было. Всегда. Всё с него, словно с гуся вода? Вопрошенья, тире, запятые, восклицанья. Судьба – впереди? Биография – ежеминутно? Что потом? Предсказать это трудно. Что за боль возникает в груди? Стихи его помню, задорные, из давних шестидесятых: «Я буду, мы будем выигрывать секунды, секунды, секунды!» – в молодёжном гвардейском журнале, – в тему, блин, как теперь говорят. А вот это нигде в печати почему-то я не встречал: «У реки берега – будто два утюга». Наверное, самиздатовское.

В центре столицы я вышел из метро и пешком поднялся вверх по улице Горького к Пушкинской, к месту встречи грядущей, площади.

Пришёл я туда ровно в семь часов, ни минутой позже, как мы и договаривались.

Возле памятника, опекушинской вдохновенной работы, Пушкину – меня, пришедшего вовремя, уже, с нетерпением, ждали.

Словно из-под склонённой в задумчивости головы Александра Сергеевича, из осеннего воздуха вышли и двинулись прямо ко мне две фигуры, одна высокая, и это был Саша Юдахин, а другая значительно меньше ростом, так, небольшая совсем.

– Вот вы, ребята, и встретились! – торжественно произнёс Юдахин. Потом продолжил. – Познакомьтесь. Лёня Губанов! – представил он, с видом солидного, в политике поднаторевшего, со стажем большим, дипломата, этого невысокого, хмурого паренька. – Володя Алейников! –   
с пафосом, достойным ораторов греческих, представил меня он ему.

Поздоровались мы с Губановым.

Руки друг другу пожали.

Стоим себе – с Пушкиным рядом.

Смотрим один на другого.

И, почему-то, молчим.

– Ну, вот вы, ребята, друг с другом наконец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро подружитесь. А мне пора уходить, – сказал, что-то вдруг, негаданно, сообразив, Юдахин. – Дела у меня. Увидимся!

И он, кивнув на прощанье нам обоим, исчез в толпе.

В те времена москвичи и приезжие вечерами любили гулять по столице. В центре всегда было людно.

И раствориться надолго меж людей было вовсе не трудно.

Мы с Губановым, возле Пушкина, под склонённой к нам головою поэта, в шелесте листьев и отсветах загоравшихся всё гуще окрестных огней, стояли друг против друга и продолжали молчать.

Это напоминало, наверное, первую встречу доселе ещё не видавших друг друга, воочию, рядом, двух молодых, да ранних, конкурирующих меж собою, на войне и в мирное время, всё едино для них, полководцев.

Этакий бука-подросток, с чёлочкой, коренастенький, сероглазый, в распахнутой курточке, в мятых брюках, в нечищеных туфлях, придирчиво, исподлобья, с прищуром, смотрел на меня.

На него я смотрел спокойно, без нервов. Подумаешь, фрукт!

Ничего, погодим, подождём, что последует за молчанием.

Что он там башкой своей, с чёлочкой кривоватой, небось, надумал?

Явно ведь собирается что-нибудь взять да и выкинуть.

Видно по физиономии – вся уже напряглась.

Ладно, переживём. И не таких видали.

Вдруг Лёня, скривив по-детски влажные, пухлые губы в язвительной, скользкой улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вовсе и не здоровались, протянул мне руку и тоном официальным, холодным, с осознанием собственной значимости, отчётливо, жёстко изрёк:

– Леонид Георгиевич Губанов.

– Владимир Дмитриевич Алейников, – мгновенно парировал я и крепко пожал его руку.

Лёня с вызовом откровенным посмотрел в упор на меня – и опять протянул мне руку. И сказал, меняя подход, нараспев:

– Леонид Губанов.

– Владимир Алейников, – твёрдо, без эмоций, ответил я.

Лёня этак хитро сощурился на меня – и ещё разок протянул мне зачем-то руку. И сказал с хрипотцой:

– Леонид.

– Владимир, – сказал я спокойно, понимая, что это игра.

Губанов уже с любопытством посмотрел на меня – и вновь протянул мне руку свою, с длинными, гибкими пальцами, с грязными, как у школьника хулиганистого, запущенными, нестриженными ногтями, сказав дружелюбно:

– Лёня.

– Володя, – сказал я приветливо и взглянул ему прямо в глаза.

Губанов так широко, что шире некуда просто, улыбнулся, преображаясь, хорошея, меняясь к лучшему, и уже панибратским тоном, все приколы отбросив, сказал:

– Старик! Давай будем на «ты»!

– Давай! – согласился я.

– Слушай, а я давно про тебя, между прочим, знаю! – тут же сказал мне Губанов.

– И я про тебя, представь себе, знаю! – сказал ему я.

– Ты ведь в Москву с Украины приехал? – спросил Губанов.

– Из Кривого Рога.

– Откуда?

– Из Кривого Рога. Такой город есть в наших южных степях. Там я вырос.

– Теперь понятно.

– Что понятно?

– Там твоя родина.

– Посмотрите, какой догадливый! Ну, а ты-то москвич?

– Москвич.

– Сразу видно.

– Что тебе видно?

– То, что ты коренной москвич.

– Ты где-нибудь учишься?

– Да. Учусь.

– А где?

– В МГУ.

– А я чихал на учёбу. Я и среднюю школу, всего-то, не закончил! Бросил, и всё.

– Почему?

– Так. Долго рассказывать.

– Ну, как хочешь.

– Потом скажу.

– Сам решай, как тебе поступать.

– Володя! – сказал Губанов. Говор был у него московский, акающий, певучий. Он произносил: Ва-а-лодя. – А я про тебя ещё прошлой осенью слышал.

– Неужели правда? – невольно удивился словам его я.

– Ну да! Ты же здесь, в Москве, жил прошлой осенью, долго?

– Конечно, – сказал я, – жил.

– Ну вот. Мне ребята из разных наших литобъединений говорили, что появился новый талант. Это ты.

– Надо же, как бывает! – сказал я. – А о тебе я только сейчас, в сентябре, от знакомых, впервые услышал.

– Почитаешь стихи? – спросил меня, в лоб, напрямую, Губанов.

– Можно, – сказал я. – Но где?

– Пойдём, хоть куда-нибудь. Куда – всё равно.

– Пойдём.

И мы с Губановым двинулись вместе по улице Горького, в сторону Маяковки.

Оказался Лёня Губанов – парнем, времени зря не теряющим.

После того, когда мы, разговаривая, миновали пустоватую, без поэтов, там читавших стихи свои толпам слушателей, отовсюду, на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся неизменно, чтобы в действе участвовать, площадь Маяковского, Лёня вдруг предложил мне, с места в карьер:

– Слушай, давай дружить!

– Давай! – согласился я.

Приближались мы к «Белорусской».

Лёня вновь ко мне с предложением:

– Слушай, давай-ка выпьем!

– Давай! – согласился я.

Мы зашли в гастроном какой-то.

Наскребли, еле-еле, денег на одну бутылку портвейна. Бутылку я положил, для спокойствия, в сумку свою.

Двинулись – вместе – дальше.

Шли по вечерней улице куда-то – и разговаривали.

И оба уже понимали, что друг с другом нам – очень даже интересно, так вот, свободно, слово за слово, непринуждённо, как старинным знакомым, с приязнью не случайной, с доверием полным к собеседнику, к новому другу, на пути, неизвестно, куда, непонятно, зачем, протянувшемся перед нами, куда-то за грань постижения, говорить.

Мы прошли грохочущий мост за Белорусским вокзалом и находились уже где-то возле улицы Правды.

Не мешало бы нам и выпить, раз вино у нас есть с собой.

Мы свернули вдвоём с тротуара в непомерно просторные, как-то буржуазно, не по-советски, расположенные, без всякой экономии места, на скудной, но и ценной столичной земле, за большими, просто громадными, вроде каменных сундуков, заселёнными впрок, под завязку, москвичами, глухими домами.

Там зашли почему-то в подъезд.

Открыли бутылку портвейна.

Выпили оба, по очереди, вдумчиво, прямо из горлышка.

– Хорошо пошло! – дал оценку действу, с видом бывалым, Губанов.

– Нормально! – сказал я, без всяких славословий. – Вино как вино.

В подъезде было темно и подозрительно тихо.

Мы закурили. Присели рядышком на ступеньки.

– Тяпнем ещё! Давай! – предложил, поразмыслив, Лёня.

– Пожалуй, можно! – прислушиваясь к тишине, согласился я с ним.

Снова глотнули по очереди из горлышка. Закурили.

В бутылке нашей вина, мерзкого, надо заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, содержащего нужные градусы для советских людей, напитка, оставалось уже маловато, в аккурат по третьему разу приложиться, и дело с концом.

(Я заметил сразу, что выпитое в смехотворных дозах вино Лёню явно взвинтило. Нет, изменило. Стал он каким-то непривычно, страдальчески нервным. Беспокойным. Словно вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороться не в силах он был. Покориться же этому – всё же не желал. Примириться с ним – тоже. Притворяться, кривляться – негоже. Этот страх и манил, и губил. Движения – резкие, дёрганые.

Паяц? Юродивый? Мим?

В голосе хрипловатом – новые, незнакомые, вибрирующие, зудящие, сверлящие изнутри горло, солоноватые, с привкусом горьким, нотки.

Зрачки разрослись, расширились до пугающей черноты.

Это было заметно вблизи даже здесь, в полутёмном подъезде.

Тогда я ещё не знал, что, сколько бы там вина, пускай хоть совсем немного, не говоря уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь действовал на него как наркотик, и это сказывалось, мгновенно, закономерно, с убийственным постоянством, всякий раз, на его поведении, нередко, почти всегда, приводя к печальным последствиям.

Но вскоре уже, к сожалению, пришлось мне об этом узнать.)

Лёня меж тем, не забыв об основном своём желании, попросил меня:

– Почитай, Володя, стихи!

– А ты? – спросил я его.

– Я потом. Сразу после тебя.

– Хорошо! – согласился я.

Не больно-то подходящим для чтения наших стихов местом был этот тёмный, пустой, незнакомый подъезд, но выбирать было не из чего.

Я начал читать свои стихи тогдашние – новые для меня в ту сентябрьскую пору, недавно совсем написанные, начал читать их Лёне – и незаметно увлёкся.

Губанов слушал меня с таким напряжением страшным во всём его крепком теле и с таким вниманием острым на бледном его лице, с таким нутряным, наружу рвущимся, жгучим огнём в чернеющих непоправимо расширенными зрачками, как-то чутко и слишком пристально распахнутых на меня, из-под скомканной чёлки, глазах, что почему-то стало мне за него тревожно.

Я прочитал всего-то несколько свежих вещей.

И читал-то негромко, да только случилось, конечно, то, что я предвидел заранее.

На звук моего, негромкого, но кем-то всё же услышанного сквозь массивные стены, голоса – с треском открылась дверь одной из ближайших квартир – и оттуда с негодованием вывалились в подъезд разъярённые жители дома:

– А ну прекратите шум!

Тотчас же, вслед за первой, открылась, под крики граждан чумных, и соседняя дверь:

– Безобразие! Хулиганство! Милицию надо вызвать!

Губанов сорвался с места и, подёргиваясь, заорал на возмущённых граждан:

– Суки! Слушать стихи гениальные не мешайте! А ну, заткнитесь!

– Лёня, тише. Кричать перестань. Пойдём! – я силком еле вытащил его из подъезда во двор.

Вслед нам бурной лавиной неслись оголтелые вопли жильцов.

Кое-как увёл я Губанова в темноту, в глубину двора.

Его буквально трясло.

Никак он не мог успокоиться.

Всё твердил:

– Помешали, гады!

– Тише, Лёня, – сказал я. – Молчи. А то жильцы, чего доброго, милицию запросто вызовут. Нам это ни к чему. Всё, успокойся. Быстрее уходим отсюда. Вперёд!

Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы уйти подальше да поскорее из опасного места, свернули в ближайшую арку и выбрались в соседний безлюдный двор.

– Есть вино? – спросил у меня, шевеля бровями, Губанов.

– Есть ещё, – показал я бутылку.

– Выпьем?

– Выпьем!

– Давай?

– Давай.

Мы приложились к бутылке уже по третьему разу.

Больше, при всём желании возможном, пить было нечего.

Губанов, чиркая спичками, ломая их то и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то до сигареты, по-блатному как-то, ухватисто, заковыристо, закурил.

Потом посмотрел мне в глаза и убеждённо сказал:

– Ты гениальный поэт!

– Ладно уж, Лёня, – сказал я. – Ты прямо как император всероссийский, титулы всякие играючи раздаёшь.

– Ты гений! – с пафосом явным сказал Губанов. – Я знаю.

Ну что за категоричность?

Откуда? Зачем? Почему?

Простецкая непривычность?

Нервичность? В толк не возьму.

Вот уж, право, замашки богемные.

(Похожие на дворовые).

Столичные? Или туземные?

Во всяком случае – новые.

Звук, превращённый в знак.

Я сказал:

– Хорошо, если так.

Губанов, поёжившись, выпустил сигаретный белёсый дым из обеих ноздрей, затем, исподлобья, с прищуром стрелецким, с молодецким, зубастым вызовом, с вопросительным знаком, вместе с восклицательным, в серых глазах, взглянул на меня и спросил:

– Можно, я теперь почитаю?

– Читай! – согласился я.

Здесь же, в бездне столичного вечера, во дворе на улице Правды, стал он, заметно волнуясь, читать мне свои стихи.

И, честно, как и когда-то в прошлом, вновь сознаюсь: поначалу эти стихи не очень-то мне понравились.

Длинные. Даже слишком. Неровные. Грубоватые.

То несколько строчек искорками вспыхнут среди сумбура, то снова гул хаотичный, досадный, а то и провал.

Человек-то явно талантливый, даже очень, это уж точно.

И тон у стихов особый.

И лицо есть своё. И голос.

Да, собственно, всё в них – его, не чьё-нибудь там, а губановское.

Но что же меня останавливает?

Что мешает их сразу принять?

Непохожесть их, очевидная, на то, что сам я писал?

Так она и должна ведь быть, эта самая непохожесть. Грубоватость их? Ну и что!

Нет, не знаю. Пока – не знаю.

Но что-то мешает мне принять их безоговорочно.

И ничего пока что, видать, не поделаешь с этим.

Губанов это заметил.

Чутьё у него, врождённое, импульсивное, обострённое, на всё вообще вокруг, сразу, оптом, было отменным.

Да и реакция тоже, на любое движенье извне.

И тем более, разумеется, – на то, как люди, которым доверился, вроде бы, он, раскрылся, пускай и на время, перед ними, воспринимают,   
в основном, по традиции, с голоса, не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его стихи.

Обо всём этом я узнал не тогда, но уже очень скоро.

Он, покашляв незнамо зачем и смутившись, прервал своё чтение.

– Потом почитаю. Успеется. Ладно? В другой раз.

– Как знаешь! – сказал ему я.

Да, задело, конечно, Губанова то, что я, новый друг его и соратник вполне реальный, точно так же, как сам он, признанный половиной Москвы, недавно, да буквально только что, ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не выразил ни эмоций своих, ни восторгов, не назвал его с ходу гением, как в богеме всегда называли, не признал его безоговорочно.

Это чувствовалось, я видел, в том, как вёл он себя тогда.

Нахохлился весь. Насупился.

Шёл, руки в карманы, вразвалочку.

Головой, кручинясь, покачивал молчаливо. А то и вздыхал.

Потом он сумел собраться.

У нас опять завязался простейший, так, между прочим, по пустякам, на ходу, но всё-таки разговор.

Мы с Губановым, разговаривая, шли сквозь осень, сквозь шелест лиственный, сквозь огни столичные, вместе, шаг за шагом, слово за словом, напрямик, в разверстую даль.

Добрались до метро «Динамо».

– Так мы и до меня дотопаем! – Лёня сощурился, закуривая. Сквозь дымок сигаретный продолжил фразу: – Я-то на Аэропорте живу. Родители дома. Думаю, не помешают. Может, зайдём ко мне? Потолкуем. Чайку попьём. Ты не переживай. К себе добраться успеешь. Дом наш –   
неподалёку от метро. Каких-нибудь пять, ну, может быть, десять минут неторопливой ходьбы – и ты на метро успеешь до закрытия. Ну, зайдём?

Я взглянул на свои часы – и сразу же спохватился:

– Нет. Мне домой пора. Завтра с утра – занятия.

– Понимаю! – сказал Губанов.

Мы стояли с ним возле метро. Стояли, два парня, один – повыше ростом, другой – пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. Познакомились. Подружиться в дальнейшем – удастся ли? Поживём – увидим. Посмотрим. Всё возможно. Ведь невозможное, как сказал не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. Невозможного в мире нет. Есть – сквозь тьму приходящий свет.

Поздний сентябрьский вечер, с его лиловато-чёрным, плотным куполом неба и жёлтыми, золотистыми, звёздчатыми, узорными, широкими всплесками листьев на всех окрестных деревьях, обволакивал нас прохладой.

Пора было нам расставаться.

Мы с Губановым обменялись телефонами и адресами, тут же, на месте, вписав их в свои записные книжки.

Губанов, похоже, маялся.

Моя – совсем ведь недавно, и, главное, так нежданно, – реакция на его стихи, которые всем в Москве, кого ни возьми, ни припомни, решительно всем, нравились, нет, какое там, вызывали восторг, восхищение, не давала ему покоя.

– Володя! – сказал он мне. – Давай-ка снова увидимся. Прямо завтра. Пойдём куда-нибудь. Пообщаемся. Что, лады?

– Завтра никак не могу, – сказал я. – Завтра я занят. А вот послезавтра – пожалуйста.

– Так можно приехать к тебе? – спросил, оживая, Губанов.

– Позвони мне вначале, заранее, обязательно. И приезжай. Днём, лучше всего. Послезавтра.

– Договорились! – сказал, пожимая мне руку, Губанов.

Мы зашли в метро. Попрощались.

И разъехались в разные стороны.

Такова наша первая встреча.

Вроде рядом она – и далече.

Камертонная. Чистый звук.

(Время – птицей из наших рук.)

В недрах осени – добрый знак.

(Весь, как есть, вокруг – Зодиак.)

Изначальная, беспечальная.

(Вряд ли будет потом – прощальная.)

Встреча – присказка. Встреча – быль.

(Над столицей – звёздная пыль.)

Встреча – с речью. Запев. Пролог.

(Драмой будущей станет – СМОГ.)

Вскоре было у встречи нашей продолжение закономерное.

Судьба, видать, постаралась, распорядилась так, чтобы всенепременно, без лишней тягомотины, без отговорок непотребных, без промедления несуразного и ненужного, только так и никак иначе, потому что нельзя по-другому поступить никому из нас, хоть и время есть про запас, чтоб к вискам не хлынула кровь, мы с Губановым встретились вновь.

...Через день позвонил Губанов.

– Старик! Володя! Привет! Как дела? Это я, Лёня. Ну что, скажи, приезжать?

Я сказал ему:

– Приезжай!

Через час, не позже, Губанов появился в моей комнате.

Был он тих, отрешённо-задумчив.

Некий свет, непривычный, таинственный, проступал на его мальчишеском, чуть припухшем, бледном лице.

И глаза его – были грустными.

Напрямик, откровенно, сразу же, без ненужных ему предисловий, каким-то вмиг изменившимся, отчасти звонким, торжественным, отчасти не слишком уверенным, акающим по-московски, с хрипотцою дворовой, голосом, но так доверительно, искренне, так просто, и в то же время почти с надрывом, с душой, моляще, Губанов сказал:

– Я стихи написал. Почитаю. Послушай. Тебе посвящается.

Я смотрел на него – и видел в нём, пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, разительную внутреннюю перемену.

Что-то с ним, безусловно, произошло, непонятное, а может и небывалое, за то короткое время, покуда мы с ним не виделись.

Я сказал ему:

– Почитай!

И приготовился слушать.

Губанов одним рывком не встал, а взлетел с места.

Он стоял посреди моей коммунальной просторной комнаты.

Свет, прозрачный и золотистый, плавно льющийся из окошка, освещал его побелевшее, без единой кровинки, лицо.

Зрачки его снова расширились и стали угольно-чёрными.

Но не было в нём обычной, обострённой, нервической взвинченности.

Было – спокойствие. Странное.

Обречённое. Роковое.

Но – невиданно светлое. Тихое.

Величавое. Доброе. Чистое.

Не спокойствие даже, но – глубь, за которой встаёт благодать.

– Осень, – сказал он грустным, нежданно дрогнувшим голосом.   
И посмотрел мне в глаза. – Посвящается это Владимиру Алейникову. Моему – навсегда – закадычному другу.

Потом взглянул за окно, за которым стоял, как в сказке, с теремами своими воздушными, с облаками поодаль, сентябрь.

Сощурился вкось на свет.

И стал, волнуясь, читать.

– Здравствуй, осень, – нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я – иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осилят. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дайте капельку повыть молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.

Губанов закончил читать – и опять посмотрел на меня.

Был услышанным я потрясён.

И тут же предчувствие страшное чего-то непоправимого, что непременно должно произойти с Губановым, резко сжало мне сердце.

Что это? Боже Ты мой!..

– Лёня! – сказал я ему. – Поразительные стихи.

– Тебе понравилось? Правда? – просиял, расцветая, Губанов.

– Очень понравилось. Правда. Настоящие это стихи. Долговечные. Чувствую это. Понимаю. И очень твои, – сказал ему я уверенно, поскольку так и считал.

– Всё я давным-давно, поверь, про себя знаю! – с горечью, с откровенностью, предельной и запредельной, вдруг вымолвил, словно выплеснул наболевшее что-то, Губанов. – Проживу я ровно, запомни, тридцать семь отпущенных мне лет. Умру в сентябре. Вот в этом стихотворении всё про это и сказано.

– Господь с тобой, Лёня! Ты что? – воскликнул я. – Что за страсти такие ты говоришь? Да живи ты ещё сто лет! Зачем на себя самого ты каркаешь? Так нельзя. С такими вещами не шутят!

– Эх! – махнул Губанов рукой, как стрелец, идущий на плаху. – Со мной всё давно уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно переживёшь. Вспомни когда-нибудь, в будущем, когда не будет меня, этот день в сентябре. Всё я знаю про себя наперёд, всё знаю…

Нелегко было мне, после всех этих Лёниных откровений, сохранять, пусть и внешне, вынужденно, с беспокойством в душе – спокойствие.

Долго мы с ним тогда говорили.

За окошко смотрели. Курили.

Вечерело. Кружилась листва.

И росло – продолженье родства.

С тем, что есть. С тем, что будет потом.

С тем, что дремлет во сне золотом.

С тем, что явью издревле зовётся.

С тем, что песней потом остаётся.

Песней – сказкой. Чья речь хороша.

Песней – былью. И песней – преданьем.

Песней – правью. И песней – страданьем.

Всем, с чем с детства сроднилась душа.

Он открылся мне искренне, весь.

Он пришёл ко мне – сам. Выходит, надо было ему прийти не куда-нибудь, а сюда.

Он сказал мне тогда важнейшие для него, сокровенные вещи. И рад был, что я его лучше других понимаю.

Он читал мне свои стихи – и они открылись мне тоже, сами, причём по-иному, нежели день назад.

Я понял, насколько, при всех оговорках, они органичны.

Понял я, что принимать их следует мне такими, какими они явились в мир, который, при всей неразберихе своей, смешанной с красотою, как и поэзия, в нём живущая, был и есть.

Всё, что необходимо, стихи эти сами скажут за себя, скажут, раньше ли, позже ли, но обязательно скажут.

И это его, пронзительное, сквозь время ко всем обращённое:

– Государь! Не вели казнить! Вели слово молвить!..

И голос его, взволнованный.

И взгляд его, грустный, горестный.

И ясный свет в сентябре...

И, хотя в шестьдесят четвёртом даже до роковых тридцати семи лет жизни, на которые он сознательно закодировал сам себя, времени, для всего, что нужно человеку в молодости, казалось ещё так много, его мне уже сейчас, не медля, хотелось спасти.

Обречённость свою, в сознание намертво, прочно вошедшую, врезавшуюся в сердце, проникшую в душу, в кровь медленным ядом впитавшуюся, точно груз, непомерно тяжёлый, от которого не отделаться просто так, ничего не выйдет, потому и тащи, терпи, надрывайся, брат, не пытайся даже в мыслях освободиться от навязанной, кем – неведомо, и когда – неизвестно, жертвенной и мучительной этой ноши, от вериги этой чудовищной, он с собою всегда носил.

В свои восемнадцать – знал о себе он самое страшное.

И всё-таки он – жил.

И – живущий – писал стихи.

Может, всё ещё обойдётся?

Может, к лучшему всё изменится?

Может, Бог его всё-таки милует?

Что сказать? Не нужны здесь слова.

В этот день сентябрьский, с пронзающим ткань романтики прежней, с кружевом из наивности, как игла, диковатым, пока что, но явным, даже больше того, неизбежным ощущеньем грядущей драмы и трагедии, вслед за ней, началась моя дружба с Губановым.

Впереди была – осень. И всё, что ждало меня в ней.

Впереди была – молодость. Кто мне вернёт её ныне?

Впереди было – всё. Только лучшее. Как у России.

Впереди были – годы, где речи пришлось выживать.

**\* \* \***

Стихи Арсения Александровича Тарковского давно и по-настоящему я любил.

Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине шестидесятых, в период нашумевшего и гонимого нашего СМОГа, он решительно, очень смело поддержал меня. Он способствовал моему восстановлению в университет. Никогда не любивший общаться с писательским начальством, предпочитавший жить замкнуто и независимо, поодаль от всей этой пишущей не только стихи и прозу, но и доносы, и жалобы, продажной и грязной публики, он тем не менее в нужный момент, для того чтобы помочь попавшему в беду молодому поэту, забыл о своей брезгливости по отношению к официальной писательской публике и о своих принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие-то там нужные рычаги, задействовал кое-каких порядочных людей, поговорил, с кем полагалось, – и, благодаря этим хлопотам, а также и хлопотам других, тоже принимавших в этой истории участие, людей, – да той же Лидии Борисовны Либединской, по рождению – графини, но ещё и вдовы советского классика, что давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, впрочем, и своего характера у неё хватало, да и всегда внимательна бывала она к людям, – был я восстановлен в МГУ.

Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, Тарковский, известный затворник, сознательно согласился «работать с молодыми» – так это тогда называлось.

Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую литературную жизнь. Так просто, без наказания кому полагается, без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни кагебешники оставить всё это уже не могли. С молодыми надо было что-то делать, иначе – иначе мало ли чего можно от них еще ожидать? И так на Западе сколько о них пишут и говорят. Вся молодежь тянется к этим смогистам. Значит, прежде всего надо взять всю пишущую молодёжь под свой контроль. Для этого срочно учредили разные литературные секции при Союзе писателей, непосредственно для молодых. Постановили – сделали. Но не назначать ведь руководить этими секциями кондовых своих литературных функционеров. Да к ним и на пушечный выстрел никто из молодёжи не подойдет! Нужны – серьёзные, уважаемые молодёжью люди. Для такого дела даже известные своей принципиальностью и определённой позицией но отношению к режиму поэты годятся. А что? К ним и пойдут. Ну вот например – к Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести одну из секций. Тарковский взял да и согласился.   
И пишущая молодежь к нему не просто пришла – валом повалила. И плевать всем было на контроль и надзор. Поэзия – вот что было прежде всего и выше всего.

Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это было – его, собственное, мнение. Это было – его суждение. Так он считал. Так и говорил.

Ещё тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с разных сторон, имеющие хоть какое-то отношение к литературе, сами пишущие или просто любители, всегда присутствующие на поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в несколько голосов, говорили –   
со значением, с придыханием, с закатыванием кверху глаз и прочими, подчёркивающими, видимо, по их понятиям, передаваемые ими слова ужимками, гримасами и речевыми эффектами, всё твердили, твердили, кто – полушёпотом, кто – нарочито громко, чтобы все вокруг услышали, – что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне серьёзно относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что это прямо сверхсобытие, да и только.

Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдержанный в проявлении своих эмоций, да к тому же и чрезвычайно скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот просто, для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь, никогда и ни за что не станет. Значит, есть, действительно есть что-то этакое в этом Алейникове, если Тарковский и тот расщедрился вдруг, перешёл даже на всякие там высокие слова.

Надо заметить, что Тарковский, даже если ему очень нравилось что-то, чьи-нибудь стихи, допустим, не имел обыкновения говорить об этом в глаза. Не знаю, что им руководило. Быть может, усталость и горечь собственной судьбы сказывались. А может, и некоторая ревность иногда присутствовала. Не мне судить. При всём при том был он человеком исключительно благородным, к тому же и смелым, решительным, и, если уж надо было, говорил и в открытую собеседнику всё, что о нём думает, плохое ли, хорошее ли.

Те слова, которые я сам когда-то, глаза в глаза, услышал от Арсения Александровича, дороги мне и поныне, да и всегда будут очень дороги.

Ещё в первую встречу, зимой шестьдесят пятого, наверное в декабре уже, когда, промёрзнув по дороге в своём демисезонном старом пальто, пришёл я к нему, в писательский дом неподалёку от метро «Аэропорт», и позвонил, и он открыл мне дверь, улыбаясь и протягивая мне навстречу свою крепкую, сухую руку, и мы прошли в его кабинет, и были там вдвоём, и говорили, о многом тогда говорили, потому что интересовало его абсолютно всё, и оказалось, что я, можно сказать, его земляк, потому что сам он родом из Кировограда, бывшего Елисаветграда, а я вырос в Кривом Роге, и это совсем рядом, и оба мы люди степные, чувствуем и понимаем наши степи, их великое пространство, и что-то есть всё же схожее в наших судьбах, вот и он совсем молоденьким приехал в Москву, и бывало здесь ему тяжело, а родина, степная родина, родина души, поддерживала, спасала его всегда, и мы, люди степей, люди Русской Степи, протянувшейся от Дуная до Заволжья, несколько иные, нежели эти, городские, особенно московские, люди лесных широт, которым неведомы подлинные просторы, и хорошо,   
что я пришёл к нему, на него повеяло молодостью, а то, что у меня всякие неувязки в жизни – это пустяки, это всё утрясётся, это ещё не трагедия, выход есть, и он сам непременно поучаствует, поможет, – и некоторым другим, заведомо хорошим, людям, из числа его знакомых, из тех, кто имеют вес или влияние в писательской среде, скажет, и они подсобят, и всё обойдётся, всё будет хорошо, главное – писать, писать стихи, жить поэзией, – и я читал ему, и он слушал, сидя за своим письменным столом, вначале откинувшись назад, на спинку стула, а потом внезапно весь подавшись вперед, и скорбное, резное, прекрасное лицо его преобразилось, ранее бледное – порозовело, заиграло огнём, и глаза, печальные, усталые, раскрылись, и в них заиграл, засверкал этот молодой, живучий огонь, и он был весь – ринувшийся навстречу звучанию моих стихов слух, весь был – зрение, острое, пронзительно-точное, и действительно глаза его были как «два незримых алмазных копья», и копья эти были ещё и световыми лучами, а стихи мои звучали, и Тарковский, человек пожилой, тогда ему было под шестьдесят, молодел у меня на глазах, и степная порода звенела в нём тайной струной, и какая-то столь идущая ему, столь естественная стать проявилась вдруг во всей фигуре его, ранее несколько сутулящейся, как бы вжатой внутрь, он распрямился, распрямились, расширились плечи, расправилась, задышала свободней широкая грудь воина, и руки, его сухие, крепкие кисти, оказались едва ли не крыльями, как-то запели, ожили, чувствуя ритм, и голову он закинул высоко, будто смотрел там, где-то в степях наших, в чистое небо, и слышал, не здесь, от меня, а там, в вышине, мелодию, которая растрогала его и которой он поверил, – и потом я услышал впервые те слова от него, что запомнил надолго, что с тех пор со мною всегда,– о присутствии тайны в стихах моих, и о том, что в них свет ощутим в каждом звуке, и ещё, о другом, откровенно, впрямую, всерьёз, не скрывая ни радости, ни изумленья, ни грусти –   
ну хотя бы о том, что судьба моя не из простых, что придётся мне впредь натерпеться, и выжить, и встать из безумия общего, став наконец-то собою – и сказать, всё сказать, там, в грядущем, к чему был я призван, поскольку весь дар мой – от Бога.

Долго можно говорить об этом человеке.

Свою любовь к его стихам, которая началась ещё в шестьдесят втором году, в Кривом Роге, когда я, шестнадцатилетний парень, уже вовсю живущий поэзией и не мыслящий себя без неё, прочитал его книгу «Перед снегом», я оберегал от всяческих вторжений извне, от тогдашнего, разнузданного богемного отношения некоторых моих знакомых к подлинной классике, я твердил его строгие, горькие, просветлённые стихи в годы скитаний, я читаю и перечитываю их и теперь, потому что без них – нельзя.

Тарковский происходил из древнего, царского рода кумыкских шамхалов. Старейшины дагестанского селения Тарки приходили к нему на поклон, когда в тридцатых годах он побывал там с группой переводчиков, – и это насмерть перепугало начальство, – и писательскую группу немедленно возвратили в Москву. В Тарках находятся родовые могилы предков поэта. Кровь кумыков, называвшихся ранее половцами, народом, родственным казакам, – а возможно, когда-то это был единый народ, и только позже религии и изменившийся язык разъединили их, –   
текла в жилах поэта, и это была степная кровь, и, наряду с другими, позднейшими, тоже струившимися в его жилах, придавала она особый строй и особый характер его поэзии.

Наверное, как рыбак рыбака видит издалека, так и степняк степняка видит издалека.

То родственное, что я ощущаю в поэзии Тарковского, то кровное, самое главное, определяющее – совершенно всё, дающее тон всему творчеству – и поведению человека в жизни, то самое глубокое, сокровенное, что уловить может только близкая душа, – судя по всему, сразу почуял и принял в свою душу он и в моих стихах. Та, важнейшая, духовная связь, её несомненное наличие, её воздействие, её свечение – судя по всему, решили всё в его отношении ко мне.

Я стеснялся его лишний раз беспокоить. Мне и в голову не приходило напрашиваться к нему в гости – или, чего доброго, просить его, как это вовсю делали другие, помочь мне с публикацией моих стихов, да и просто – обращаться за помощью. Боже упаси! Нет, он был для меня – вот таким, каков он есть, самим собою, Тарковским, и этого для меня было достаточно. Изредка мы виделись. И все эти встречи я прекрасно помню. Он, как я теперь понимаю, тоже, ещё в былые годы, оценил и внутренне одобрил такое моё, независимое, поведение. О моём серьёзнейшем отношении к его поэзии он не только догадывался, но и прекрасно знал. Постарались ему доложить об этом, и даже преуспели в этом, – те, другие, из литературной и окололитературной шатии-братии, которых хлебом не корми, а дай лишний раз передать кому-то, что именно и когда кто-то о нём сказал. Вот уж действительно – публика! Ну, Бог им судья.

Тарковский некоторое время находился если не в гуще литературной жизни, то, во всяком случае, в гуще тех самых молодых, и не очень молодых, пишущих стихи людей, для которых были созданы специальные, возглавляемые известными мастерами, секции. Для этих секций выделили помещения в ЦДЛ – Центральном Доме литераторов, или гадюшнике, как все мы его называли. Вначале был объявлен жесточайший конкурс. Молодые пииты боролись за место под солнцем. Они пускались во все тяжкие, шли на какие-то непонятные сделки с кем-то, интриговали, сплетничали, выслуживались – и лезли, лезли, лезли туда, поближе к литературе, к начальству, к нужным людям, к официозу, ибо там – им светит, там – глядишь, и печатать начнут, и книжка выйдет, и в Союз писателей примут, там – будущее для них. Они лезли –   
и пролезали. Было их как собак нерезаных.

Меня приняли сразу, в первую очередь, без всякого конкурса, как выдающееся молодое дарование, да ещё и смогиста, и при этом некоторые цедеэловские деятели весьма охотно именовали меня самородком. Ну, что скажешь? Побывал же я на этих самых секциях всего несколько раз, через силу, потому что уж больно характерной публика там была. От неё так и разило угодливой толпой. Некоторые способные ребятишки там всё же занимались, но уж очень мало их было, да и затёрли их потом, довольно скоро, на ходу набирающиеся ума-разума для официального своего существования, нахальные, беспринципные горлопаны и пронырливые тихони. Грустное было зрелище. Я, как увидел это, сразу всё понял. Нет, это не для меня.

Но к Тарковскому – чтобы его самого увидеть – пришёл.

Помню, схватили меня прямо в коридоре эти самые окололитературные нахалы, под белы рученьки потащили, ввели в комнату, где все они кучковались, а там – Арсений Александрович. Ну, это совсем другое дело. С меня сразу всё раздражение слетело. Я буквально ожил.

Поэт. Сидит – один, посреди комнаты, возле стола, на каком-то нелепом, скрипучем стуле. Палка в руках. Негнущаяся нога, вернее – протез, который всегда его смущал, заставлял даже страдать. Другая нога, в тяжёлом ботинке, крепко стоит на полу, упирается в пол, всю тяжесть тела в него вдавливает. Руки. Сухие, жилистые, степные. Прямая спина. Стать. Голову то наклоняет немного вперёд, словно набычившись, то легко и молодо откидывает назад, отчего косое крыло зачёсанных вправо, седеющих, но ещё не полностью седых, прямых волос ложится на высокий, нет, очень высокий, открытый чистый лоб, а потом ещё движение головы – и крыло возвращается обратно. Фигура – соединение птицы и всадника. Изломанные, густые, говорящие о породе, брови. Мешки под глазами. Морщины, складки – на ясном лице. Глаза – вовнутрь глядящие, обладающие не только внешним, но и внутренним зрением. Иначе таких стихов не было бы. Губы, сжатые плотно, сухие. Упрямый подбородок. Изваянная из музыки, из мысли, точёная, очень пропорциональная по отношению к торсу, очень характерная голова. Состояние: грусть.

А вокруг – каре: с четырёх сторон, окружая, взирая, переглядываясь, шушукаясь, пофыркивая, похрюкивая, помалкивая, со своими портфелями, папками со стихами, со своими проблемами, с написанным на лбу у каждого желанием: печататься! хочу печататься! во что бы то ни стало! любой ценой! – разномастное, разнокалиберное кодло оглоедов, шушера в основном, за редчайшим исключением, «будущее советской литературы».

Втащили меня. Отпустили. Уселись по местам, ждут чего-то. Я – тоже в центре комнаты. Стою. Молчу. На меня смотрят – все оглоеды, скопом. Тоже молчат.

Передо мной – только Тарковский. Видит меня. Светлеет. Опять вижу: происходит в нём преображение. Всего его существа. Вдохновение в нём, закипающий в жилах огонь. Молодеет. Свежеет. Состояние: страсть.

Глаза навстречу мне вспыхивают. Руку мне протягивает. Улыбается – своей улыбкой, таких больше не припомню. Пожимает мне руку, привстав. Смотрит на меня в упор: степняк степняка...

И – крылатый жест сильной, взлетающей кистью. И – глуховатый голос. Искренние слова:

– Здравствуйте, Володя! Рад вас видеть.

Я, тоже искренне:

– Здравствуйте, Арсений Александрович! И я рад видеть вас.

И – сразу, без паузы, в новом порыве, взлёт кисти-крыла:

– Почитайте стихи!

Я, без обиняков, тоже – сразу:

– Вам, Арсений Александрович?

Он – глаза, брови, руки, губы:

– Да!

Надо читать.

Стою посредине комнаты, напротив него. Читаю. Читаю – и забываю об окружающих нас оглоедах, и опять словно заново пишу, сызнова переживаю стихи свои, закрыв глаза, голову закинув, – именно так меня Артур Владимирович Фонвизин в конце мая шестьдесят пятого года и написал, сделал эту акварель свою, первую после перерыва, после сложнейшей глазной операции, вернувшей ему зрение, и сказал: «Вот, Володя, я написал вас – поэтом!» – читаю – как пою, читаю – как летаю, нахожусь, чувствую это, в состоянии транса, вижу то, что читаю –   
внутренним зрением, слышу – голос, это мой голос, он меня и ведёт, он и звучит, читаю – и, приоткрывая глаза, вижу: Тарковский слушает, и не только слушает, он – всё слышит, слышит – видит, слышит – понимает, ему это – дано, он чувствует – связь, он – на моих частотах, на моей волне, он – единственный здесь, кто – слышит, кто – понимает, а остальные – нет их, остальных, есть – он, Тарковский, и я перед ним – читаю. Пою. Песнь мою он слышит – вот что замечательно. Читаю – не помню уж, сколько времени. Заканчиваю. В комнате – тишина. Потом –   
гул. Их – не слышу, не вижу. Смотрю на Тарковского. Глаза. Всё ясно. Жизнь и песнь.

Для литературных оглоедов был я в те годы одновременно и притягательной фигурой, и белой вороной. Белой вороной – потому что никогда не смешивался с ними, не якшался, наоборот, сторонился, брезговал, был другом своих друзей, был всегда самим собой, всюду – сам по себе. Притягательной фигурой был я для них оттого, что молодая слава тащилась за мною сама, где бы я ни был, где бы ни появлялся на людях. Слава эта оттягивала мне плечи, как разбухший от влаги, изрядно вымокший под проливным дождём плащ. Но она – была, её наличие было – несомненным, вот это и притягивало ко мне всяких любопытствующих субъектов, группами и поврозь.

Помню, как они, в тех же шестидесятых, предварительно посмаковав эту новость в своих рядах, по очереди, один за другим, этак с подъёмом, с пафосом, преподнося это как сенсацию номер один, торопясь преподнести это, как на блюдечке, мне докладывали:

– Арсений Александрович Тарковский давно уже всем говорит, что у Володи Алейникова в стихах – каждая строчка гениальная!

Ну, коли так, то – знал, что говорил.

**\* \* \***

…Вот она пришла, Наташа Горбаневская.

Сама пришла. Стоит передо мной.

Чудесная! Почему? Потому что – чудесная.

Маленькая волшебница. Из Андерсена ли? Не знаю.

Маленькая разбойница – чуть-чуть. Вообще-то – птица.

Воробышек, чуть нахохлившийся. Городская, отчасти домашняя, но прежде всего – независимая, доверчивая, но смелая, – нет, отчаянно-храбрая птица.

А может быть, голубица? Почему над нею – зарницы? Почему не страшны ей границы? И тем более, и особенно – все запреты, любого толка. И – любого рода темницы.

Вольная птица. Гордая. Очень самостоятельная.

Слушает всех – внимательно. Делает всё – по-своему.

Птица, которой не спится. Что-то должно случиться? На месте ей не сидится. Всё ей куда-то летится. Куда? Видно, знает – куда. В небо, прежде всего. К свету, что есть над землёю.

Птица. Действительно, птица. То она где-то таится, то она – к людям стремится. И ничего не боится. И никого. Такою, знать, рождена. Taкая, знать, у неё планида. Беды? Грехи? Обиды? Быт? – Воспарит: Ирида! Весточка от Боттичелли. Флора. Душа. Весна.

Чудесно маленькая – обнять, пригреть, уберечь от нелепостей жизни так и хочется.

Чудесно хрупкая – сохранить её, спрятать подальше от горя, дышать на неё, согревать её хочется.

Чудесно крепкая – сама правота, сама достоверность, сама выживаемость.

Волевая. Живая. Вопреки – доле. Вопреки – боли.

Воля. Сплошная воля. В нашей – земной – юдоли.

Много ли съедено соли? Сознательно? Поневоле?

Более чем достаточно. Хватит на всех. С избытком.

В новой ли видится роли? Скажем, истицы? Жрицы? Вестницы – из заграницы?

Нет. Вот взлетят ресницы, зашелестят страницы...

Слушать? Читать? Молиться? Чтить? – Вместе с нею взвиться вверх –   
и легко проститься с тягостью лет? Прибиться к стае? Нет, вновь – сродниться с песнью, и вновь – спастись.

Всё, что в ней есть от птицы, – в слове желает сбыться. Значит, с пути – не сбиться. И своего добиться. К свету – сквозь мглу – пробиться. Значит, всему случиться, что, несомненно, – свыше. Что же, судьба? Судьба.

Птица. Женщина-птица. Славная, надо сказать.

Молодая московская дама. Умница. И волшебница. Маленькая. Но – с характером. С гонором. Вся – достоинство. Вся – оттуда, из воинства, небесного. Вся – из таинства. Из празднества. Разве – для вас?

Лёгкая, как наездница. Скромница – и прелестница. Маленькая разбойница? Где он, её Пегас?

В прежние годы – странница. Даже, отчасти, – скиталица. Милая современница. Воительница. Печальница. Верная, встарь, соратница. Даже, порой, наперсница. Знаю, что – духовидица. Так ли? Скажи, затворница!

Так. И от века – данница имени. И заложница – славы своей. И – прав своих: доля, свобода, речь.

Слов своих всех – добытчица. Снов своих всех – раздатчица. Яви своей – питомица. Луч. Обещанье встреч.

Прочь от неё, мучения! Всё в ней – пути значение. Вот она в облачении: Ангел. В деснице – меч.

Ночи ли к ней – с вопросами? Дни ли за ней – с ответами? Всё бы ей – вкривь, откосами, с этими, впрямь отпетыми. Всё бы ей – в одиночестве, в страшном своём отечестве, в грозном своём пророчестве. Время – стряхнёт ли с плеч?

Зима шестьдесят пятого – шестьдесят шестого. Зима – на грани периода нового, памятного весьма.

Что за месяц? Декабрь? Январь? А может быть, и февраль? Какой же – из этих трёх?

Да это уже и неважно.

Важно – что было холодно. Снежно. Была – зима.

Выхожу из метро – и в мороз. Неминуемо, сразу – в холод. Снег. Иду в нём, куда-то – вбок, вкривь и наискось. Но – иду. И туда, куда надо. Адрес –   
на клочке бумаги. Зигзаги по скользящему льду. Шаги вдоль сугробов. Дома, деревья – как во сне. Вечереет. Ветер, мне вдогонку, из-за угла. Обгоняет меня, толкает в спину, крутится, точно штопор, завихряется, хорохорится, нарывается на отпор у стены, отлетает в сторону и тушуется, затихает. Я иду по Новопесчаной. Наконец-то – нужный мне дом.

Холодный подъезд. Пустынная лестница. Вот и квартира тридцать четыре. Звоню.

Открывается дверь. На пороге, вся в порыве, отчасти птичьем и отчасти детском, – Наташа Горбаневская:

– Здравствуй, Володя!

Маленькая фигурка. Кругленькая головка.

Завитки и кудряшки мягких, своевольных, тёмных волос.

Очки. За очками – глаза, для кого-то – цепкие, острые, проницательные, для меня же – совершенно детские, чистые, со зрачками – слегка звенящими колокольцами зимними ломкими, отзывающимися на звук, загорающимися мгновенно, расширяющимися, цветущими на лице молодом, сияющими – от звучащего слова, от взгляда, за которым – раздастся речь.

Наташа одета просто, по-домашнему, так ей удобнее и привычнее, так ей спокойнее: в большом и широком свитере, до колен почти, в чёрных колготках, в шаркающих, скользящих по твёрдому, чистому полу, тёплых, разношенных тапочках.

Вид у неё – домашний. Но у неё – гости.

Володя Бродянский – из Питера. Друг добрый – мой и Наташин, с нею нас и познакомивший. Приехал в Москву, и – к Наташе.

Рома Тименчик – из Риги. Филолог. Знаток поэзии. Так все о нём говорили. И – тоже сюда, к Наташе.

Вот и я к ней пришёл. Звала.

Говорили. Курили. Много. «Приму». «Шипку». «Солнце». И – «Яву», иногда. Считалось, что это – дорогие, для всех, сигареты.

Зажигалок – не было. Спички – то и дело чиркали. Вспышки краткосрочного, быстрого пламени разгорались в наших руках.

Мы прикуривали. Сквозь дым – высветлялись лица. Глаза, молодые совсем, сияли вдохновеньем и волшебством.

В квартире было тепло. Так тепло, что мне вспомнилось лето. Хотя повсюду за окнами в мире была – зима.

Пили кофе. Вкусный. Наташа самолично его готовила. Аромат над чашкой вставал зыбким, лёгким восточным божком.

Было всем нам уютно здесь, всех не то чтобы разморило – но уж очень нам не хотелось, никому, потом, когда вечер этот славный закончится всё-таки, выбираться отсюда – в мороз.

А поэтому все мы, здесь, в этой тёплой квартире, собравшиеся, по возможности, как получалось, продлевали время, растягивали, получалось – что замедляли.

То ли молодость так вот сказывалась, золотая, крылатая, певчая, и не чья-нибудь, а моя, то ли что-то ещё, но я ощущал физически, помню, что у всех нас времени вдосталь – и сегодня, и завтра, и там, впереди, в грядущем, которое было слишком далёким от нас, чтоб его попытаться представить, чтоб увидеть его воочию, чтоб узнать, что нас ждёт вдалеке, в отдалении, в глубине бесконечной, непостижимой, в неизбежной, зовущей, манящей высоте, средь созвездий ночных, – времени было, казалось мне, сколько угодно, с избытком, вот оно, как его много, хватит с лихвой на всех, – и от этого мне и запомнилась та, былая, замедленность некая, та приятная неторопливость, та размеренность миролюбивая, что приметами были явными столь далёкого зимнего вечера.

С Наташей мы уже были хорошо знакомы – и даже, можно сказать, дружны.

Поскольку она звала, я просто её навестил.

Мне нравилось с ней общаться, нравилось разговаривать.

Я чувствовал в ней тогда самое важное, главное, – цельность её натуры, твёрдость характера, значимость её присутствия в мире – для меня, понимал её подлинность, взаправдашность, честность, серьёзность, знал: приязнь обоюдная наша – совсем не случайна.

В ту пору Наташа читала стихи мои. Очень внимательно. Дотошно. Сосредоточенно. Изучала их, так точнее.

На столе у неё лежала самиздатовская моя, недавняя, небывалая, по тем временам, нашумевшая в Москве, и уже знаменитая книга стихов. Наташа перелистывала страницы, что-то спрашивала у меня.

Подошёл Тименчик, взглянул, наобум, на страницу с текстом, попытался этак затейливо, с пируэтами, филологически, обыграв какую-то строчку, показавшуюся ему то ли смутной, то ли туманной, то ли странной совсем, пошутить.

Наташе тогда показалось, что хочет он просто съязвить.

И она достаточно вежливо, но решительно, твёрдо, сразу же, в тот же миг, его осадила.

Она эта делать – умела.

Рома слегка опешил, потом смутился, потом стал сумбурно оправдываться.

Но урок получил он вовремя. И подобных выходок больше себе он не позволял.

А Володя Бродянский, довольный, как-то очень по-детски счастливый – оттого, что именно он, – пусть недавно, да всё ведь к лучшему, всё сложилось так хорошо, – познакомил меня с Наташей Горбаневской, а мы с ней сразу же, и надолго, видать, подружились, – весь в сиянии своего обаяния, вдохновенный, говорил нам в тот зимний вечер много добрых и светлых слов.

Из Наташиной тёплой квартиры, с неохотой, да что уж поделаешь, мне пришлось выбираться в холод и потом добираться туда, где было в ту пору сложную у меня, хорошо знакомого с чередою бездомиц, временное, но и то ведь своё, пристанище.

Помню, что, когда я собрался уходить, попрощался со всеми и уже одевался в прихожей, Наташа всё продолжала, провожая меня, говорить мне о том, как она в стихи мои вчитывается внимательно, входит в мой, такой для неё радостный мир, в котором столько она открывает новизны, и света, и музыки, и возможностей речи нашей.

Через несколько дней в квартире, где я обитал тогда, на улице Годовикова, бывшей Калибровской, тихой, расположенной в стороне от проспекта Мира, от шума городского, раздался громкий телефонный, призывный звонок.

Я поднял трубку:

– Алло!

Оказалось, звонила Наташа Горбаневская. Волновалась. Это слышно было по голосу. Он звенел, чуть дрожа, как струна.

– Володя! – сказала Наташа, – послушай меня. Нет, лучше меня внимательно выслушай. Это важно сейчас для меня. Очень важно. Ты понимаешь?

Я ответил ей:

– Говори!

– Володя! – сказала Наташа торжественно и серьёзно, – до сих пор я считала, что есть в наше время, у нас в России, только один поэт – Иосиф Бродский. Так – было. А теперь я считаю, что есть в России у нас два поэта – Владимир Алейников, да, ты и Иосиф Бродский. Вот это я и хотела тебе сегодня сказать. Ты запомни это, пожалуйста. Это моё мнение. И моё убеждение твёрдое. Я стихи твои прочитала – и тогда-то всё поняла. Всё так ясно вдруг поняла – и какие это стихи, и кто ты такой, для меня и для всех остальных людей.

Я смутился. Такое услышать, да ещё – нежданно, внезапно, да ещё –   
от самой Наташи Горбаневской, которая редко, даже скупо, хвалила кого-то из поэтов – и вообще чрезвычайно была строга в оценках своих и суждениях, – очень многое для меня в те далёкие годы значило.

Что-то я отвечал ей. Что? Бормотал что-нибудь, пожалуй.

Наташа снова, сознательно, отчётливо подчеркнула, насколько важно ей было всё это мне – чтобы знал и помнил её слова – сегодня, прямо сейчас, без всяких там околичностей, откровенно и прямо сказать.

Мнение непреложное и решительное своё сформулировала она предельно чётко и ясно.

Высказала его – прямо, без обиняков.

Оставалась она при нём, ещё более в нём укрепляясь, и потом, в течение всех славных лет нашей светлой дружбы.

Для меня, столько лет и зим, сквозь пространство и время, сквозь всё, что бывало, стихи Наташи Горбаневской – часть моей жизни.

И особенно – шестидесятые, молодые, крылатые годы.

Стихи всегда – это надо помнить всем, знать об этом, – похожи на создавшего их человека, на поэта, творца, их автора.

И особенно – если это, вот что важно, стихи настоящие, если автор их – настоящий, что большая редкость, поэт.

Стихи Горбаневской были поразительно просто похожи, всем своим особенным обликом, существующим и отдельно от реальности грустной, от быта, и в самой сердцевине яви, и трагической, и прекрасной, как две капли воды, на неё.

…Вспоминаю, как мы с Наташей Горбаневской ходили в Рождественский монастырь, тогда еще запущенный, захламлённый, заселённый коммунальными жителями, многолюдной, пёстрой слободкой там ютившимися по комнатам – бывшим кельям, с пустым, заснежённым, бестолковым двором, со стенами, на которых сидели гoлуби и вороны, с чёрными окнами, – ясным, белым, просторным днём.

– Вот моя любимая церковь! – сказала Наташа.

Светлый, строгий, скромный, благородно сдержанный в очертаниях своих, всем обликом своим – дышащий, звучащий, тихо поющий храм был перед нами.

Я знал его давно. Сам порой приходил к нему.

Шестнадцатый век. Свеча на снегу. Свет – вопреки тьме. Звук – вопреки немоте. Знак – для призванных. Голос – навсегда, сквозь время. Душа – в окружении наваждений. Дух извечный. Небесный дом – на земле. Храм – укром. Храм – сейчас – на потом.

Как тиха, и светла, и спокойна была здесь, бок о бок со мною стоя рядом с храмом, Наташа!

Возвышенно-строга. Торжественно-радостна. Внешне.

Внутри – я видел – сиянье плескалось и разрасталось, рвалось – вот сюда, наружу, поближе к дневному свету и храму, сюда, где молча стояли мы и смотрели на чудо – вот здесь, пред нами, весной, посреди Москвы.

В памяти осталось:

Наташа, знающая дорогу к храму,

Наташа – пришедшая к храму.

Пусть храм и закрыт ещё – всё равно он потом воскреснет.

В памяти осталось:

Наташа, готовая войти в храм,

Наташа – ждущая этого дня.

Маленькая, лёгонькая, в каком-то пальтеце, относительно тёплом, в шапочке, из-под которой выбивались непокорные её кудряшки, в сапожках на стройных, кажущихся при хождении порхающими, ножках, в тёплых пушистых варежках, согревающих её детские ладошки, стояла она здесь, во дворе упразднённого советской властью монастыря, как на службе в храме.

Стояла – исполненная веры.

Знала: придёт время – откроются двери храма.

Всё об этом в ней говорило.

И особенно – глаза.

Глаза её были светлы, влажны и прекрасны.

И я как-то сразу понял и принял всю силу её убеждённости в выборе своего пути, всю крепость её правоты человеческой, всю стойкость её души, ранимой, да всё же не зря наделённой в юдоли крылами, чтоб сквозь мглу воспарять и летать, вместе с песней своей, над землёй, чтобы вместе с весной стоять ясным днём перед Божьим Храмом.

**\* \* \***

Где бы ни приходилось мне работать, всегда оказывался я там случайно и везде был белой вороной.

Вот и в редакцию газеты Главмосавтотранса «За доблестный труд» затащил меня в семидесятом Дима Савицкий.

Он публиковал там свои рассказы, написанные вроде бы и в духе отечественной прозы шестидесятых, но и несколько по-иному, в свойственной ему, жестковатой и определённой манере, без излишних сантиментов, с изрядной дозой иронии и непременным подтекстом, с двойным смыслом, где за внешним наглядным пластом проглядывал пласт потаённый, и так полагалось писать, так принято было тогда, и читали тогда между строк, отыскивая сокровенное, спрятанное виртуозно от цензуры и лишних глаз, и радовались открытиям, как будто бы клад нашли, и это было, конечно, созвучно былой эпохе, и рассказы её выражали так и этак, уж как получалось, и выражали по-своему, по-савицки, а не по-советски, то есть был в них фирменный знак, –   
и только изредка ощущалось в них ненавязчивое, косвенное воздействие некоторых западных прозаиков, – но как же без этого было   
тогда?

Дима был хорошим журналистом.

Он чуть ли не силком привёл меня однажды в благоволившую к нему редакцию.

И мне там, совершенно неожиданно для меня, с моей-то давней, устойчивой и осознанной нелюбовью к любого рода присутственным местам, даже понравилось.

Не сама редакция – то есть, помещение, обстановка, атмосфера и всё подобное, не сама работа газетная, но другое. Люди понравились.

Толя Кричевский, ответственный секретарь, познакомившись со мной и разговорившись, тут же показался мне совершенно своим, и я как-то сразу поверил ему, и он это почувствовал тоже, и буквально через полчаса, в упор взглянув на меня живейшими, умными, чуть усталыми, с ироническим узким прищуром, с искоркой шалой защитного юмора, но и с огнём доброты и тепла, глазами человека бывалого, опытного, напрямую мне предложил:

– Иди работать к нам!

И уговорил.

Всё равно мне в ту пору надо было искать работу, хоть какую-нибудь, – а то, не приведи Господь, при моём-то шатком положении не сыграли бы на этом, не зачислили бы в тунеядцы, – тогда власти широко этим пользовались для усмирения некоторых особо им не угодных сограждан.

Я согласился.

Считался я литсотрудником, и, хотя и являлся таковым, но считался на словах, то есть неофициально, по договорённости с начальством, – а вот официально, на бумаге, с записью в трудовой книжке, оформили меня почему-то гонщиком, на одной из московских многочисленных автобаз.

Гонщик – это, насколько я помню, вовсе не тот, кто участвует в автомобильных гонках, борется за первое место, проигрывает или одерживает победу, то есть спортсмен, профессионал, ас, герой спортивных передач и статей, кумир болельщиков и экзальтированных дам, звезда, человек-легенда, почти сказочный персонаж, – но совсем наоборот – обычный, ничем не примечательный, хотя и тоже, конечно, в своей области профессионал, числящийся в штате автохозяйства, получающий довольно скромную зарплату, измотанный постоянным, утомительным сидением за баранкой, с учётом отнимающих последнее здоровье непростых условий бесперебойной езды по нашим родным дорогам, современник мой скромный, трудяга, рядовой советский шофёр, всего-то навсего перегоняющий с места на место машины. Кажется, так.

Стал я работать, стал помаленьку привыкать к новой для себя обстановке.

Сотрудники редакции относились к нам с Савицким с явной, нескрываемой симпатией.

Они прекрасно знали, что я поэт, молодой, но давно знаменитый.   
А то, что не числился я в литераторах официальных, лишний раз говорило им, что поэт я – из настоящих.

Знали они об истории со СМОГом, с его расцветом и разгромом, нашумевшей в шестидесятых так, что некий музыкальный гул, оставшийся после неё, тянулся за мной каким-то бесконечным шлейфом в прежние годы и сопровождает меня вот уже почти сорок лет, а сама история, судя по всему, вообще никогда не закончится. И всячески высказывали своё одобрение, демонстрировали своё расположение ко мне.

Я же, смущаясь, норовил ничем особо среди них не выделяться.

Да и острастка срабатывала. Мало ли что!

В буфете огромного здания Главмосавтотранса на Бутырском валу, в стороне от проезжей дороги, за нечастыми деревьями, здания малопонятного для меня, где, как выяснилось, находилась не только редакция, но и расположенные на всех его этажах солидные кабинеты начальников разных рангов, приёмные, всевозможные службы, канцелярии, бухгалтерии, а также помещения, назначение которых невозможно было, казалось мне так, никому для себя уяснить, постоянно, к великой радости всех мужиков, продавалось бутылочное, слегка охлаждённое, очень вкусное чешское пиво, редкость по тем временам.

Обедал я в тамошней столовой. И из единственного рубля, полагавшегося мне на обед, всегда выкраивал на пару бутылок пива, и как раз хватало, поскольку стоимость напитка определялась без посуды – или, как её на советский манер называли, без стеклотары. Оставшаяся считанная мелочь шла на полтарелки жидкого супа, гарнир из картофельного пюре с капустой, который раздатчицы съестного, по доброте душевной, наглядевшись на мою экономию с едой, иногда увеличивали вдвое, и хлеб. Так, день за днём, и питался. Пользы в таком обеде не было никакой. Калории были – в пиве.

Я писал для газеты, смиряя себя, сердясь, через силу, набело, понимая, что делаю вовсе не то, что вообще не моё это дело, и не тем я здесь занимаюсь, производственные очерки, содержание которых тут же забывал, и всякую коротенькую ерунду, вроде подписей под фотографиями. Потом стал разнообразить жанры. Но и в этом разнообразии радости не находил ровным счётом никакой. Только нарастало внутри вначале раздражение, а потом и огорчение от бесполезности и ненужности моих занятий. Да ещё болезненно остро ощущал я, как уходит и уходит, неделя за неделей, выброшенное неизвестно во имя чего, драгоценное время.

Я ездил по московским, разбросанным по всему огромному мегаполису, автобазам и таксопаркам, общался там с людьми, старательно вникал в вопросы производства – и ничегошеньки в них так и не понимал.

Мне выдали удостоверение. Там указано было, что я – сотрудник газеты. Предъявив его, я мог ездить на городском транспорте бесплатно. Это было тогда очень даже кстати.

Но это ещё не всё. По своему удостоверению я мог садиться без очереди в такси, а при надобности – даже ехать бесплатно в такси. Шофёры-таксисты, все поголовно, и новички, и бывалые асы-ветераны, меня побаивались: я сочинял про них фельетоны.

Главный редактор, дама властная, по фамилии Таршис, лишь изредка выходящая к нам из своего кабинета и неведомо какие думы там думавшая, но своё дело – чтобы ни-ни, чтобы всё шло как надо, по директивам, согласно линии партии, без всяких там осечек и накладок, хорошо знавшая, читала все материалы сама, внимательнейшим образом, чтобы никакой крамолы не пропустить, и тексты свирепо сокращала, вымарывая, по её разумению, всё лишнее, то есть более-менее самостоятельное, живое, и оставляя только необходимое, то есть разрешённое, без последствий, казённое.

Однажды она прозевала сущую мелочь: букву. Героическую труженицу одной из автобаз, некую Кузину, я в своём очерке назвал по ошибке Пузиной. Так и напечатали.

Когда газета с моим очерком вышла, героиня его позвонила в редакцию и деликатно, без обид, без истерик, без всякого крика, вежливо, просто, спокойно, как и подобает человеку воспитанному, без комплексов, без гордыни, уточнила собственную фамилию.

Наша главная дама-редакторша закатила мне форменный скандал. Она была всегда в модной, светленькой одежде, с кольцами на холёных, узких руках, с нежной, розовато-белёсой кожей лица. А тут от ярости побагровела, налилась венозной кровью и превратилась в рыжеволосую фурию.

Но Пузина-Кузина, женщина прямая и благородная, меня защитила и сказала во всеуслышание, что вообще-то, если честно, и если не считать недоразумения с перепутанной начальной буквы в её фамилии, то как литературный опус, интересный, живой, с достоинствами несомненными, словом – удачный, мой очерк ей очень даже понравился. То есть, по существу, меня защитила.

На том дело и закончилось.

Мы всей редакцией порою, словно спохватившись, вдруг задумывались о том, как сделать нашу, достаточно большую, по сравнению с прочими многотиражками, вполне солидную, известную в столице, регулярно, как по часам, выходившую, пусть на восемьдесят процентов и по-советски кондовую, это все хорошо понимали, и тут никуда уж не денешься – официальный печатный орган, цензура, контроль, ответственность за каждый текст и так далее, но на двадцать скромных процентов – живую, отличавшуюся от остальных, а потому и с удовольствием, на отечественном безрыбье, читаемую трудящимися, и, следовательно, чем-то всё-таки выделяющуюся на общем унылом фоне, достоинствами некоторыми обладавшую газету, – любым способом, даже в обход канонов, запретов и жёстких правил, – хотя бы на йоту, на толику самую малую, но так, чтобы это порадовало и нас, и читателей наших, – посвободнее, поинтереснее.

Периодически её украшали рассказы, а иногда и своеобразные, с прихотливым, вполне сознательным, от ума большей частью идущем, хоть и чувства в них было немало, переплетением повествовательной, медитативной, иронической и лирической линий, тогдашние стихи Савицкого.

Был однажды случай, когда напечатали чёрноюморные тексты Вагрича Бахчаняна, – и ничего, сошло, никто не заметил сути, претензий особых не было, равно как и нагоняев, и скандала, чего опасались, как ни странно, не получилось. Напечатали – ну и ладно. Прочитали. И всё сошло.

Кое-что ещё проходило на газетные полосы, маскируясь, бочком, проскальзывало, – этак дуриком, на авось.

Это были, конечно, победы. Пусть и скромные, но – реальные.

Это стоило многих нервов. И считалось – заслугами, подвигами.

Это было, конечно, дерзостью. Но игра ведь стоила свеч.

Но этого малого, пробившегося сквозь мглу, прорвавшегося в печать, пусть и радовало оно, пусть и гордость за подвиги, как на войне, у иных вызывало, всё же, положа руку на сердце, и с учётом того, что все мы, при каждом подходящем случае, только появлялась возможность сказать о насущном, о наболевшем, не сговариваясь, в один голос, усердно ратовали за улучшение уровня издания, – было явно недостаточно.

Ну что бы ещё такое придумать?

Я предложил напечатать в газете повесть Андрея Битова «Колесо».   
К автотранспорту она отношение имела. Само название впрямую о необходимейшей части машины говорило. Куда же, действительно, без колеса? Вспоминались тут же и гоголевские мужики из «Мёртвых душ», с их рассуждениями – доедет или не доедет? К тому же, вещь была компактной и вполне подходила для нашего периодического издания.

Идея вызвала у народа нешуточный интерес.

Я позвонил Битову:

– Здравствуй, Андрей!

– Володя, ты? – раздался в трубке слегка осипший голос.

– Я.

– Здравствуй! Рад тебя слышать.

– У меня к тебе дело есть.

– Какое там дело ещё? Давай, приезжай. Прямо сейчас. Голова у меня побаливает, со вчерашнего. Тяжеловато. Приезжай. Посидим, побеседуем. Ну, и я подлечусь немного... Ты откуда звонишь?

– Из редакции.

– Из какой ещё редакции?

– Из редакции газеты.

– И что за газета?

– «За доблестный труд».

– Ну и название! Что ты там делаешь?

– Тружусь.

– В каком это смысле?

– Я работаю здесь.

– Ты, поэт, смогист, – и работаешь?

– Да.

– В советской газете?

– Вот именно.

– Ну и ну!

– Представь, и я так считаю.

– А что за дело?

– Серьёзное.

– А конкретнее?

– Понимаешь, надо взять у тебя интервью.

– Что? Говори яснее.

– Надо взять у тебя интервью.

– И кто его будет брать?

– Я буду брать.

– Ну, дожили! Алейников будет брать у Битова интервью!

– Да, именно так.

– А когда?

– Хоть сейчас.

– Тогда приезжай.

И я приехал к Андрею.

Он встретил меня, разбухший, похмельный, без очков, близоруко щурящийся, но старавшийся выглядеть бодро и держаться как можно твёрже, с неизменно прямой спиною, с кофемолкой привычной в руках.

– Сейчас будем пить кофе! – объявил, улыбаясь, Битов.

– Можно и кофе! – сказал я, проходя в квартиру.

– А потом будем пить вино!

– Можно и вина выпить.

– А потом говорить будем.

– Хорошо. Я согласен на всё.

Я сказал ему сразу – про «Колесо».

Он ответил:

– Да, я подумаю.

Мы устроились за столом, на котором, как и всегда у Андрея, почти ничего съестного не было. Так, чёрствая булка, печенье, остаток сыра.

Зато кофе было предостаточно – и Андрей со всегдашним удовольствием засыпал тёмно-коричневые пахучие зёрна в длинную и узкую металлическую, поблёскивавшую серебряным отливом кофемолку, его любимую, и включал её, и размалывал зёрна, и образовавшийся порошок засыпал во вместительную джезву с деревянной рукояткой, и ставил джезву на огонь, и варил кофе, и разливал дымящийся напиток в чашечки. Словом, это был традиционный его ритуал.

И мы пили с ним свежий, вкусный, крепкий кофе.

И Андрей уже кивал на стоявший в углу пяток семисотграммовых бутылок с белым сухим вином.

И пришёл после кофе черёд сухого вина.

И Андрей поправил здоровье.

И мы с ним – поговорили.

Он, не уставая изумляться тому, что видит меня в роли интервьюера, хотя, как я заметил, было это ему, безусловно, приятно, закурил и принялся отвечать на мои вопросы.

Он ответил на все мои вопросы о своей жизни и литературной судьбе. Причём делал это с удовольствием, охотно, умеючи, обстоятельно и без всякого сумбура, толково. Говорил как по-писаному. Он вообще любил и умел говорить. А тут он вспоминал некоторые моменты своей биографии, соединял их с прозой своей, проводил параллели с тем-то и с тем-то, перекидывал мостики сразу во все времена, по спирали, по ассоциации, возвращался к тому, с чего начал, продолжал, развивал свою мысль, парадоксами сыпал, шутил, говорил серьёзные вещи – и стал постепенно, в процессе говорения своего, снова самим собою, и, похоже, действительно подлечился, и вином, и речами своими, и был интересен мне, как и всегда, и слушал его я внимательно, с интересом и с удовольствием, и как-то по-новому он раскрыться теперь сумел.

Всё, что сказал мне Битов, было вполне в его духе. То есть – оригинальным, свежим. Бери да печатай.

Всё это – я записал. Наскоро. Для себя.

Надо мне было из всех этих записей торопливых сделать потом интервью.

Я поблагодарил Андрея.

И спросил:

– А как же с публикацией?

– Какой? – не понял Андрей.

– Публикацией повести «Колесо».

– В газете «За доблестный труд».

– А что?

– Да так, ничего.

– И всё же?

– Пусть публикуют.

– Но где же мне взять её?

– Так... – Андрей поразмыслил немного. Потом наконец сказал: – Повесть возьми у Инги.

– Поеду.

– Прямо сейчас?

– Конечно.

– А что за спешка?

– Вовсе не спешка. Так надо.

– Ну, как знаешь. Тогда поезжай.

– Еду.

– А может, выпьем?

– Нет, спасибо. Ты выпей сам.

– Я-то выпью.

– Ну вот и выпей.

– Ты не хочешь?

– Нет, не хочу.

– Ну, как знаешь.

– Держись. Поправляйся.

– Постараюсь.

– Всего хорошего.

– Инге там привет передай.

– Передам.

– Скажи, пусть приедет.

– Хорошо.

– Ну, пока?

– До свидания.

И я, попрощавшись с Битовым, поехал к Инге Петкевич.

Инга, жена Андрея, училась тогда в Москве – то ли на Высших литературных, то ли на Высших сценарных курсах. Пожалуй, на сценарных. Потому что охотно всем рассказывала о просмотренных там кинофильмах – таких, которые сроду прочим не покажут. В том числе, с хрипотцою в голосе, только среди приятелей, – и об эротических, само существование которых для всех вообще казалось фантастическим. Ну а вся мировая классика – уж это само собой, всё было там пересмотрено. Показывали им и все новинки. Студентам – или слушателям, ежели так правильнее, – высших курсов полагалось назубок знать всё, что могло им потом пригодиться, в дальнейшей, предполагаемой их работе, когда, закончив обучение, примутся они создавать собственные сценарии.

Жила Инга в общежитии Литинститута.

Находилось оно не то чтобы совсем уж далеко, на окраине где-нибудь, – нет, вовсе и не на окраине, и однако же на отшибе, осторонь от знакомых мне районов, и всё-таки далековато, конечно, так мне тогда показалось, и ехал я слишком уж долго, за Останкино куда-то, и это мне порядком надоело. Сейчас я и адреса даже приблизительно не скажу, хотя зрительно – до сих пор отчётливо помню, где оно, это здание.

Я приехал туда. Открыл входную дверь. Прошёл по коридору в указанном обитателями общаги направлении. Увидел дверь нужной мне комнаты. Постучал.

Инга, рыжегривая красавица, открыла мне.

Была она спросонок. И всё ворчала – на всё на свете, так, для порядка.

Глаза её смотрели на мир вроде бы и сердито, но мелькала в них иногда и шальная, смешливая искорка.

Лицо её было заспанным, бледным, пухлым.

Надутые совсем по-детски, не накрашенные, капризно изогнутые губки забавно подёргивались и оттопыривались, и создавалось впечатление, будто прямо сейчас пожелала что-то необычное сказать, но передумала, вот и всё, и возьмёт да ничего и не скажет, а вы уж все как хотите, так и ведите себя, и что хотите, то и думайте, потому что ей всё равно.

По плечам её, наскоро прикрытым старым халатиком, буйной россыпью разметалась целая галактика рыжих волос.

Инга выслушала меня внимательно. И некоторое время, сузив свои магнетические глаза, размышляла.

Потом она порылась где-то поблизости, в бумажных и книжных завалах, извлекла из укромного закутка машинописную перепечатку битовского «Колеса» и протянула её мне.

Текст оказался получерновым, густо, от руки, правленным Андреевой рукой.

– Ничего, разберутся! – спокойно сказала Инга. – Перепечатают. Делов-то!

И громко заржала. Это у неё смех был такой. Фирменный. Неповторимый. Нечто вроде одобрения.

Инга была не только яркой личностью, что само по себе замечательно и уже вызывает интерес и симпатию, но ещё и очень талантливой писательницей.

А я как раз недавно прочитал её чудесную книжку для детей «Мы с Костиком». И поэтому, не удержавшись, тут же, напрямую, сказал ей, как мне эта книжка понравилась.

Инга сверкнула своими светлыми, – то ли зелёными, то ли голубыми, то ли изжелта-карими, трудно их цвет передать, потому что всегда они были неизменно горячими, огненными, то с бушующим в них пламенем, то с весёлой, лукавой искоркой, то с таинственным, странным мерцанием где-то там, на самом их дне, – ставшими тут же горячими, жаркими, пробуждающимися глазами, встряхнула волосами – и опять заржала.

– Надо повидаться, Володя! – сказала она, закуривая. – Хочу стихи твои новые послушать. Можно?

– Конечно, можно, – сказал я. – Приезжай.

– Вот-вот. Приезжай, – проворчала Инга. – Помнишь, как ты при-  
ехал к нам в Токсово и читал стихи?

– Помню, конечно, – ответил я.

– Хорошо тогда было! – вздохнула Инга.

В коридоре, за прикрытой не слишком плотно дверью, вдруг раздался какой-то жуткий грохот, вслед за грохотом – глухой шум падающего тела, а потом – чей-то крик отчаянный, а за криком – тихие стоны.

Я тревожно оглянулся – и вопросительно взглянул на Ингу, являвшую собою, к моему немалому, признаться, удивлению, редкий пример образцовой выдержки и полнейшей невозмутимости.

– Не обращай внимания! – спокойно сказала Инга. – Пьют, не просыхая. Все здесь пьют. Поголовно. Вот, – показала она почему-то на кровать, – Коля Рубцов, например. Трое суток провалялся у меня под кроватью. И всё пил. С утра мается, охает, тянет мне снизу рубли свои мятые, поганые: «Инга, умоляю! Инга, спаси! Сбегай за бутылкой. Сил нет терпеть больше. Выручи. Принеси опохмелиться!..» Выспаться спокойно не давал. Ну, слушаешь его, слушаешь – и лопается терпение. Плюнешь, встанешь. Принесёшь ему бутылку. Он заглотнёт немного –   
и опять отрубается. Храпит на полу, под кроватью. Алкоголик, что поделаешь! Еле выдержала я. Гнать его – жалко. Ну куда он потащится? Наконец, сам ушёл. А поэт он – хороший, да? Ты как считаешь?

– Да брось ты! – отмахнулся я. – Третий сорт. Ну, десяток стихо-  
творений наберётся. Мне как-то всё равно, есть он или нет его. Пусть живёт.

– Да, пожалуй, – согласилась Инга. – Все нервы мне вытрепал. Алкаш хренов. Но стихи у него – есть, есть трогательные. Такие, знаешь, русские, в есенинском ключе. Деревня, матушка, поля, берёзки. Пусть живёт!

Говорить было вроде особо уже и не о чем.

Да к тому же надо было Инге умываться, в порядок себя приводить. И то сказать – трое суток Рубцов её мучил!

Мы договорились как-нибудь на днях повидаться.

И я повёз повесть Битова в редакцию.

Увидев рукопись, Толя Кричевский оживился:

– Можно будет давать с продолжением, из номера в номер!

Но главный редактор, дама самовольная, любящая делать всё поперёк, руководствуясь только ей одной ясными принципами, вначале довольно рассеянно полистала до крайности затрудняющий чтение, испещрённый обильнейшими, в несколько слоёв, исправлениями и напоминавшими головоломные математические формулы, бессчётными вставками, текст битовской повести, потом о чём-то призадумалась, куда-то позвонила, с кем-то, видимо, посоветовалась, после чего вышла к нам с истрёпанной рукописью в руке с видом более чем решительным, отчего всем сразу стало ясно, что на сей раз номер не пройдёт, – и категорически воспротивилась публикации «Колеса».

Заодно, само собой, автоматически отпала надобность и в публикации моего интервью с Битовым.

Ну, коли так, то и ладно. Ничего не попишешь. Начальство – против. Давит оно на корню наши инициативы.

Повздыхали мы все, пороптали – на судьбу и нашу редакторшу, – но потом примирились с обеими и довольно скоро успокоились.

Отдал я рукопись «Колеса» на прочтение Кричевскому. Так она, правленная Битовым, и осталась у него.

Нам же, для обновления газеты, следовало по возможности скорее, а лучше бы незамедлительно, – чтобы как в сказке, прямо сейчас, это вдруг прояснилось, – придумать что-нибудь другое.

И меня осенило.

Я предложил периодически публиковать на последней полосе произведения для детей. По воскресеньям, например.

Среди сонма столичных моих знакомых было немалое число интересных, славных людей, по возрасту своему гораздо старше меня, с одной стороны – известнейших представителей неофициальной литературы, и поэтому неиздаваемых, с другой же стороны литераторов широко издаваемых и тоже известных, профессионально и хорошо пишущих именно для детей. Игорь Сергеевич Холин, Генрих Сапгир, Гена Цыферов, Ян Сатуновский, Овсей Овсеевич Дриз...

Небось, все они откликнутся на призыв, поймут ситуацию правильно – и с удовольствием, надо полагать, согласятся дать нам свои стихи и сказки – для публикаций в нашей газете.

Идея моя всем нашим редакционным людям очень понравилась. По душе пришлась. Или, как говорится, в жилу. Видно, я поневоле в самую точку попал.

Сотрудники газеты сразу же оживились, оторвались от пишущих машинок, вскочили с мест, закурили, все разом заговорили.

– Для детей – это здорово!

– Надо, братцы, думать о детях!

– Надо помнить о детях, товарищи!

– Надо детям нашим помочь!

В общем, промелькнул во всём своём блеске и заставил меня в очередной раз восхититься и улыбнуться прекрасно известный ценителям одесского сочного юмора мотив из романа Ильфа и Петрова.

Но пришло это сразу же в голову почему-то лишь мне одному.

Сотрудникам было не до юмористических ассоциаций.

В своём едином порыве были они все, как один, совершенно искренними.

Лица их посветлели, помолодели, расплылись в добрых улыбках.

И потеплели глаза их, усталые, натруженные, болевшие от сочинения, правок и вычиток газетных материалов.

И смягчились их измотанные монотонной тягомотиной и ежедневной нервотрёпкой, но всё же не очерствевшие вконец, не ледяные, вовсе не каменные, а вполне людские, отзывчивые, с человечностью, вмиг проявившейся, гулко бьющиеся сердца.

Все они горячо поддержали новую мою идею.

Даже главная редакторша, для порядка вначале слегка поломавшись, пошуршав своими лёгкими, воздушными одеждами, сквозь которые в меру эротично просвечивало золотисто-кремовое, ухоженное, благоухающее заграничными дорогими духами, свежее тело дамы в бальзаковском возрасте, совершив белыми ручками в золотых браслетах и кольцах загадочные манипуляции, с прижиманием ладоней ко лбу, что символизировало задумчивость, с постукиванием пальчиками по краю стола, что выражало настроенность на боевой лад, нежданно для всех тоже милостиво улыбнулась и мою идею одобрила:

– Вот это как раз то, что надо!

Получено «добро» – надо действовать. И немедленно. Только так. Волынить, затягивать с действиями в подобных случаях, крайне редких в советское время, с его бесчисленными запретами, ограничениями, с вечной оглядкой и въевшейся в мысли опаской, категорически нельзя. Следует сразу же хватать ситуацию за хвост и крепко её держать, а не то, чего доброго, может она и вырваться, и сбежать неизвестно куда, то есть – просто перемениться. И вовсе не в лучшую сторону. Такое случается редко. Вернее, такого почти не бывает. Вот в худшую сторону –   
да, это всегда пожалуйста. Этого сколько угодно. Примеров полно. За ними и ходить-то далеко не надо. И лучше, от греха подальше, об этом пока что не думать. Лучше – немедленно, желательно – прямо сейчас, ничего не откладывая на потом, что-то предпринять. Всё это мы хорошо понимали. И на вещи смотрели трезво. И действовать были готовы. Все. Так считалось. Но лучше бы всё-таки – действовал автор идеи. Так оно как-то спокойнее – для остальных. Ведь мало ли что может произойти? И лучше – подстраховаться. Обо всём этом – я догадывался, по чутью, как всегда, заранее. Всё это я – что делать! – более чем понимал. Ничего не попишешь – привычно сваливать всё на кого-то. В данном случае – на меня. Ну и пусть. Разберусь, поди, сам. Но с кого начать?

И тут меня вновь осенило.

Я сказал Диме Савицкому:

– Давай напечатаем Лимонова. Я серьёзно говорю. Сам посуди – живёт человек в Москве на полулегальном положении. Шитьём брюк подрабатывает. Стихи пишет – но их не печатают, и не будут печатать, сам понимаешь. Но мы Лимонова – напечатаем. И мы будем – первыми, кто его напечатает.

– Интересно! – Дима заинтересованно слушал меня. – Говори!

– Я уверен, – продолжил я свои рассуждения, – что Эдик сумеет писать стихи для детей. Дар у него такой. Нечто детское в нём есть, игровое, согласись. Наверняка он никогда для детей не писал. Но наверняка же и сумеет это сделать. Вот ты представь: пишет Эдик эти стихи, и приносит их нам. А мы публикуем их в газете. И вскоре вся Москва читает напечатанные лимоновские стихи. Я уверен, что он хорошо напишет их.

– Давай звонить Эду! – загорелся Савицкий.

Я позвонил Лимонову. Вкратце объяснил ему, что от него требуется.

Эдик секунду помедлил. Потом решительно сказал:

– Идёт! Сажусь писать.

Нам оставалось – только ждать.

Лимонов времени зря не терял. Не откладывая дела в долгий ящик, он сразу же сел за работу. И на удивление быстро с заданием справился.

За один присест, набело, написал он ровно столько стихотворений для детей, чтобы заполнить полосу. Строк триста, наверное. И на следующий день принёс перепечатанные им на чешской машинке «Консул» тексты.

Называлось это – стихи для детей.

Мне они понравились. В них было то лимоновское, полунаивное, полуребяческое, полуабсурдное, полужитейское, что являлось отличительной чертой тогдашних его писаний.

Кроме того, стихи получились задорные, весёлые, игровые, с прибаутками, с восклицаниями, с междометиями, со скачкой на деревянной лошадке неведомо куда – и с прочим лёгким бредом, который придавал текстам Эдика странное обаяние.

Кричевский прочитал стихи и вначале хмыкнул, а потом крякнул, а после этого присвистнул и улыбнулся.

– Годится! – сказал он. – Пойдёт в номер.

Савицкий прочитал стихи и восхитился:

– Ну, Эд! Выдал ты тексты!

Пышноволосый, круглолицый, в очках, в хорошо сшитых им же брюках с аккуратно отглаженной стрелкой, вроде бы скромный, но с бесом в ребре, Эдик Лимонов сидел в редакции и радовался жизни, радовался некоторым изменениям в писательской своей судьбе:

– Надо же! Меня, Лимонова, – печатать собираются! В Харькове узнают – не поверят. А всё так и есть. Вот я, Лимонов, сижу в советской редакции. И вижу, что меня хотят издавать. Ну не чудеса ли это? Глядишь, стану печатающимся поэтом. И моя супруга, Анька, Анна Моисеевна Рубинштейн, уже не будет называть меня «молодым негодяем»! Надо выпить за такое дело!

– Пить будем потом! – сказал навидавшийся в жизни всякого, начиная с армейской службы и продолжая выразительным перечнем его работ, исключительно с целью заработать на хлеб насущный, из которых одну всего-навсего вспоминал он порою с симпатией – работу осветителем в знаменитом театре «Современник», да и там приходилось ему отрываться от дела частенько, чтобы прямо с репетиции сбегать в магазин за очередной бутылкой водки для Олега Ефремова, – остальные же были так себе, пребыванием бог знает где, тратой времени, часто бессмысленной, включая, хоть это и не работа, а учёба, и Литинститут, где он зачем-то учился, но чему – он и сам не знал, да и заработки в газете были крохами, так, перебиться, – и на том спасибо, конечно, –   
да хотелось бы всё-таки большего, но чего впереди ожидать, как не именно крох, здесь, в совдепии, где подумаешь поневоле, не махнуть ли, послав подальше неуступчивое отечество, с ностальгией всей, за кордон, – сказал, как отрезал решительно в любой ситуации трезво и в корень глядевший на вещи, бородой сурово тряхнув, строгий ментор Дима Савицкий. – Вот когда выйдут твои стихи, когда увидим мы, что они напечатаны, – тогда и выпьем!

– И то верно! – согласился Лимонов. – Подождём, что из этой затеи получится.

И лимоновские стихи для детей – вышли в свет!

В следующее же воскресенье.

Целая полоса была для них отведена.

Кажется, Дима сочинил ещё и небольшую врезку – о том, кто такой Лимонов.

И рисунки, заставочки весёлые, в стиле иллюстраций к детским книжкам, были на полосе.

Одним словом – событие.

В понедельник в редакцию пришёл радостный Лимонов. Мы вручили ему столько газет, сколько унесёт, – груду. Эдик прикинул, сколько дотащит, – и потребовал ещё – на подарки знакомым.

Дали ему штук сто газет и на подарки.

Обременённый тюком с газетами, Эдик Лимонов, отныне автор самой крупной в Москве многотиражки, издаваемой большим тиражом и даже продающейся в газетных киосках, вышел из редакции на Бутырский вал.

Это была первая его публикация.

Самая первая. И самая неожиданная.

И, конечно, было ему всё это очень приятно.

Перво-наперво он незамедлительно отправил номер газеты со своими стихами родителям, в Харьков. Пусть старики знают, что непутёвый сын их уже печатается!

Потом ходил по Москве с заполненной газетами сумкой – и как бы между прочим дарил, экземпляр за экземпляром, украшенную его стихами газету многочисленным своим знакомым.

И, кто его знает, – может быть, именно тогда зародилась в его изобретательном, с сумасшедшинкой, с любовью к риску, творческом мозгу идея когда-нибудь издавать собственную газету?

Что и воплотилось позже – в «Лимонку».

Национальный герой был в ту пору на гребне своей популярности.

Его везде привечали.

Всем, никому не отказывая, шил он отличные брюки – и все ему охотно за них платили, поскольку шил он брюки со вкусом.

Всем, куда только его ни звали, читал он свои стихи. Его акции поднялись: человек издаётся!..

Художник Миша Гробман, считавший почему-то, что это именно он открыл Лимонова, ходил по гостям, держа всегда наготове газету с лимоновской публикацией, – и прямо с порога начинал читать оторопевшим людям задорные, чёрным по белому напечатанные, занимающие целую полосу, Эдиковы тексты, заводные, с явным, хоть и несколько харьковского, провинциального толка, но всё же французистым, авангардным, очевидным дадаизмом.

Жена Лимонова, Аня Рубинштейн, очень полная, с невероятно красивой головкой, приходя куда-нибудь и попивая кофеёк, а заодно жуя предложенный хозяевами бутерброд, а потом, незаметно как-то, и ещё один, и ещё, поскольку поесть она любила, скромно поднимала на присутствующих сияющие глаза и с гордостью говорила:

– Эд уже печатается!..

В общем, поспособствовал я укреплению лимоновской известности в Белокаменной и за её пределами.

Но как же мне было не поддержать друга?

Как было хоть в чём-то ему реально не помочь?

Всё я делал, как и всегда, искренне, от души, с самыми добрыми намерениями.

Довольно быстро мне надоело ходить на службу, ездить по всяким автохозяйствам, а потом, сидя за громоздкой машинкой, прямо набело писать невесть что.

Не для меня была эта контора.

Хоть и люди здесь, можно сказать, хорошие, почти наши, почти свои, но – не для меня это, нет, не для меня.

И я ушёл из редакции.

Савицкий, небольшой, энергичный, спортивный, с ассирийской сизо-смоляной бородой, помимо прозы, явно под воздействием исходящих от моих стихов импульсов, – да и не только, наверное, от моих, потому что везде тогда читались стихи, везде перепечатывались стихи, –   
начал, всё интенсивнее, писать и свои стихи.

Каждый новый цикл он тащил ко мне и дарил с дружеской надписью.

Циклы эти появлялись на свет с завидной регулярностью.

До сих пор у меня чудом сохранились некоторые его самодельные книжицы.

Он любил и хорошо знал джаз.

Любовь к джазу нас ещё теснее сблизила.

В его тринадцатиметровой комнате, расположенной в глубине коммунальной квартиры на четвёртом этаже ничем не примечательного дома в Лиховом переулке, частенько слушал я отменные записи.

Дима угощал меня антрекотами, по одному антрекоту на брата, и заваренным им по собственному рецепту, действительно вкусным чаем.

Иной раз мы с ним скидывались и покупали бутылочку «Каберне», которую и распивали не спеша, под свинговые вибрации эллингтоновского оркестра или под золотое соло трубы Луи Армстронга.

Фортепьянные проигрыши Дюка плавно зависали и покачивались в зыбком, волокнистом дыму выкуренных нами сигарет.

Армстронговский тон был тёплым, даже горячим, как врывающийся в Димину комнату из-за полуотдёрнутой шторы солнечный луч, был густым и медвяным, звук был острее бритвы и сразу же устремлялся в атаку, напористость и энергия великого джазмена не знали границ, пассажи являлись вдруг, словно из ничего, сами по себе, вспыхивали и сменялись другими, ещё более колоритными, и четырёхтактовые музыкальные фразы возникали, вытекали одна из другой, и в самом построении игры была та вернейшая взаимосвязь, которая, несомненно, была фирменным знаком, отличительной чертой этого джазового гения, – и только вздрагивало вдруг оконное, давно не мытое, тускловатое стекло, чтобы лёгкой звёздочкой отразился в нём пронизавший пространство всей комнаты, устремившийся дальше, в заоконную даль, будоражащий, звонкий, ликующий звук, – да покачивал головою, улыбаясь чему-то, Савицкий, да крутилась пластинка, да гудела недальним Садовым кольцом за стеною Москва...

Димин сосед по коммуналке закалялся под холодным душем, намереваясь стать «моржом».

Дима тут же напечатал в газете рассказ о нём, чем вызвал прилив дружбы.

Сосед начал всерьёз «моржевать», увлёкся, а потом увлёкся и сочинением прозы, которую Савицкий обрабатывал и печатал всё в той же газете «За доблестный труд».

Так в Москве стало одним прозаиком больше.

Дима жаждал знакомств с людьми богемы, – в особенности с известными тогда, или знаменитыми даже, и тем самым ему, человеку пишущему, ещё более интересными людьми, с которыми, при его несколько вкрадчивом, отчасти рассчитанном, сделанном, но и достаточно броском, лучезарно-компанейском обаянии, он довольно легко находил общий язык, быстро налаживал отношения, неглубокие, впрочем, без подлинных дружб, но зато для него приятные и в известном смысле полезные, – и зачастил ко мне.

У меня всегда можно было кого-нибудь да встретить.

Потом я дал ему адрес Марии Николаевны Изергиной, выдающейся женщины, живущей в Коктебеле, подруги Марии Степановны Волошиной и очень многих достойных людей, – и Дима переместился туда, там и обрёл новое дыхание как писатель.

Более известен был там годами – как всегда, неизменно, в любом настроении, в любое время дня, в любую погоду, находящийся в самой лучшей, образцовой спортивной форме, по-настоящему классный теннисист, обыгрывавший на корте всех без исключения обитателей дома творчества.

…Савицкий уехал на Запад, сорок лет прожил в Париже, а недавно он умер, но старые коктебельцы по сей день вспоминают его – верного рыцаря Марии Николаевны и теннисного короля.

**\* \* \***

Вспоминаю, как навестили меня в одном доме, в семьдесят первом году, сразу трое моих друзей-приятелей – Игорь Холин, Генрих Сапгир и Эдик Лимонов.

Они прикатили ко мне с целым мешком симпатичных, маленьких бутылок пива – «Рижского», вроде, – пожалуй, оно продавалось в те годы в таких вот бутылочках, – трудно мне, человеку, давно уж непьющему, взять да так вот всё сразу и вспомнить – и название пива, и прочие, выпивонных баталий, детали и подробности, – это вспомнят могикане богемы пьющие, к ним за справками и обращайтесь, для меня это всё – в былом.

Гости мои загрузили бутылками ванну, заполненную холодной водой, сразу ставшую похожей на склад стеклотары. Они доставали оттуда бутылки – непрерывно, одну за другой, открывали их, пиво пенилось, они наливали его в стаканы – и пили, пили, пили.

Это называлось – проведать друга.

Или даже – поддержать друга.

Во всяком случае, Холин с Сапгиром приехали, чтобы именно поддержать меня – морально поддержать, уж так, как умеют, как принято, с некоторым количеством питья, в данном случае – совсем лёгкого, почти символического, но зато уж имевшегося в изобилии, пей – не хочу.

Лимонов же – приехал ко мне, как вскоре я понял, за компанию с Холиным и Сапгиром, вроде бы – тоже навестить друга, в предыдущие годы сделавшего для него немало добра, но на самом-то деле – с иной целью.

Лимонов был прекрасно одет.

Шикарный светлый костюм великолепно сидел на нём. Под горлом, выделяясь на ослепительно белой рубашке, трепыхался пышненький, пёстренький галстук-бабочка. Пышными, будто бы взбитыми, были и длинные, ухоженные, кудреватые волосы Эдиковы.

На ногах у него сияли новые, дорогие, старательно начищенные туфли.

Эдик лихо открывал блещущие тёмным стеклом, вытянутыми конусами сужающиеся кверху бутылки с пивом, сдувал пену, попивал янтарного цвета напиток – и всем своим видом, всем поведением своим словно говорил мне, одному мне, специально, нарочно, показывал, демонстрировал, – вот, мол, какой он нынче, смотри, Володя, какой он ухоженный, благополучный, довольный жизнью, судьбой, сделавшей новый виток и придавшей всему его существованию новый, только ещё начинающий раскрываться, но, несомненно, прекрасный   
смысл.

Эдик не забыл подчеркнуть, что теперь он всегда при деньгах, с нескрываемой радостью поведал мне, что он везде нарасхват, всё в гостях, у иностранцев, в посольствах, и везде его на ура принимают, и всем он читает стихи, по его словам, всех поголовно восхищающие и приводящие в трепет, – вон даже Костаки, послушав его, воскликнул: «Наконец-то я слышу настоящие стихи!» – так что игра его стоит свеч, он на коне, популярность его всё растёт, перспективы впереди –   
самые радужные, и жизнь вообще хорошая штука, если подходить к ней не абы как, а с должной практичностью, дабы выжать из неё всё возможное.

Примерно к этому сводились его речи.

Всем своим поведением показывал он мне, что, вот, мол, смотри, да все смотрите, он – удачник, он в выигрыше, он начинает урывать своё, а ему много надо всего, много, и это ещё только начало, он ещё разгуляется, войдёт во вкус, он ещё покажет себя, станет национальным героем, – а я – ну что я? – что я – для него, Эдика, – я-то, со своими сложностями в жизни, с абсолютно другой судьбой, уже полубездомничающий, мающийся, часто – смятенный? – каждому своё, видать, каждому своё, – и главным, наиважнейшим во всём этом было: вот, видишь, – это он теперь вырвался вперёд, это он обходит соперников, это он, Эдик, благополучен и популярен в народе.

– Бог с тобой, Эдик! – спокойно сказал я ему. – Действительно, каждому своё. Живи как знаешь, как умеешь, как уж она, эта твоя, новая, светская, широкая, праздничная жизнь у тебя складывается. На свою жизнь мне нечего жаловаться. Она сложится так, как суждено. Я – в своём движении к свету нахожусь. Только и всего. Понимай как хочешь. Для меня сейчас важно – именно это движение. Остальное –   
потом.

Но Лимонову хотелось выговориться.

Вначале он с таинственным видом, отозвав меня в сторонку, понизив голос и поглядывая по сторонам, чтобы не услышали другие, рассказал мне, что недавно его вызывали в органы. На Лубянку, понятное дело. На беседу. И так уж приняли, так уж душевно беседовали, что дальше некуда. Вежливые люди. Воспитанные. Внимательные. Образованные. Совершенно всё обо всех они знают. Ну и что с того, что они – кагэбэшники? Говорить-то с ними приятно. Интересно даже. Полезно. Встретили они Эдика ну прямо как старого знакомого. С уважением относились. С симпатией. Предлагали сотрудничать с ними. Говорили, что вот, мол, ваш, Эдуард Вениаминович, земляк, харьковчанин, Брусиловский, художник известный, давно уж, старательно, столько уж лет, в охотку, можно сказать, сотрудничает с ними, с органами, и с несомненной пользой для себя, заметьте, поскольку, имея от него регулярную информацию о том, что происходит в интересующих чекистов кругах, благодарный комитет госбезопасности преспокойно закрывает глаза на его деятельность иного рода, мало общего имеющую с рисованием, антиквариат ли это, или ещё что, и даёт человеку жить, так, как ему хочется. Так почему же и вам, имея перед глазами пример вашего земляка, не сотрудничать с органами? – как-то слишком уж бойко и весело рассказывал мне Лимонов, – ну почему не сотрудничать, если это сулит немалые выгоды, упрощает жизнь, даёт вам некоторые преимущества перед вашими знакомыми, да и вообще, как вы понимаете, всё ведь это не просто так, всё это – для блага родины, для защиты её интересов, и всегда чекисты – на страже, и вам, Эдуард Вениаминович, такому известному нынче поэту, но человеку, с положением, прямо скажем, не очень-то устойчивым, даже шатким, которое нам никакого труда не составит вдруг усложнить, не пойти на сотрудничество с нами, для вашего же спокойствия житейского, но и во имя интересов родины, разумеется, и это прежде всего, но и собственная ваша жизнь как угодно сложиться может, и вы это понимаете, а мы многое можем, многое, и помочь вам сумеем, и направить на верный путь, и – поддержать всегда, если понадобится, – так что вы уж подумайте, хорошенько подумайте о нашем предложении, не случайно мы вызвали вас, именно вас, и не просто так именно с вами об этом сейчас говорим, всё это очень серьёзно, а вы уж решайте.

Вот что, уже не тараща, а щуря глаза из-под стёкол очков, рассказывал мне полушёпотом Эдик Лимонов.

Зачем? Думаю, так было надо.

Кому? Известно, кому.

Не случайно ведь он сказал, что сотрудничать, ему лично, с органами безопасности, всё-таки интересно.

Не случайно ведь эти же самые, не чужие отнюдь, не придуманные, не взятые с потолка, но его, и только его, лимоновские, слова – увидел я напечатанными, буква к букве, чёрным по белому, в интервью журналисту бойкому постперестроечных лет, внуку вроде бы какого-то героя революции, с венгерскими корнями, некоему Феликсу Медведеву, в книжке жареных, согласно выраженью лет посыпавшихся градом, не иначе, на читательские головы, скандальных и сенсационных   
публикаций, интервью медведевских, гремевших на просторах родины чудесной, перед тем, как, обретя свободу, потеряла родина лицо, вслед за чем куда-то задевался, видимо, игру свою сыгравший, или проигравшийся, возможно, всякое бывает, сам игрок, то есть, сам азартный журналист, – увидел я эти слова лет этак через двадцать после его, лимоновского, давнего монолога, может быть – откровенного, может быть – не совсем, с двойным ли значеньем, с подвохом ли, с расчётом ли трезвым, по пьянке ли, – тогда, в стороне от компании приятелей, втайне, за пивом.

Как относиться к этому?

Наивное восклицание!

Вопрос на засыпку, что ли?

Загадка? Шарада? Кроссворд?

Информация к размышлению, по лаконично-чекистской, конкретной, скрижальной формуле творца незабвенного Штирлица, писателя и бизнесмена-издателя, Юлиана Семёнова, подсобившего свалившему в поисках славы в чужие края Лимонову, будущему политику, партийцу и скандалисту, вернуться в родные пределы то ли на тёмной лошадке, то ли на белом коне, чтоб здесь, на выгодной почве, сызнова развернуться, батькой Махно разгуляться, да что там, намного круче, по национал-большевистски, с лозунгами и знамёнами, с понтом пройти по стране, мнить себя на безрыбье национальным героем, воображать себя если не идеалом, так образцом для зелёной, сбитой им с толку, в стаю собранной молодёжи, да иногда, для дела, книги свои писать, напрочь забыв процитировать, всем, себя же, любимого, свои же слова, написанные им в молодости когда-то: «Молчите, проклятые книжищи!..»

Да так вот и относиться.

Он сказал это – с целью, с умыслом.

Ну а я – навсегда запомнил.

Было ль, не было ли – мне-то что?

Сам за всё пусть и отвечает.

Перед кем? Перед Богом, понятно.

И, конечно же, перед людьми.

Выслушал я Лимонова – по возможности невозмутимо.

Ну а что оставалось делать?

Волю вдруг проявил. Сдержался. Не сказал ничего ему.

Смысла не было никакого, после всех его, неприятных, так их можно было бы, видимо, для приличия, обозначить, или, что намного точнее, по Булгакову, нехороших, органичных для тех же органов, что Лимонова привечали, потому и по-иезуитски, что рифмуется с «по-чекистски», для сознания просто чудовищных, заковыристых откровений, хоть о чём-нибудь с ним говорить.

Но ему хотелось выговориться. Он, будто его прорвало, говорил и говорил.

И мне приходилось его слушать. Приходилось.

Может, душу он надумал облегчить, всё сказав, как древние считали?

Он расстался со своей, недавней, харьковской женой, Аней Рубинштейн. Это был для него – пройденный этап.

Он завёл себе новую жену – Елену. Манекенщицу, писавшую стихи. Бывшую супругу художника Щапова. Светскую даму, считавшуюся почему-то красавицей. Даму с большим самомнением, с ворохом разных претензий, и требований, и замашек. Прямо из сладкой жизни, той самой, московской, о которой, с участием Брусиловского и Щапова, был залихватский, с фотографиями, репортаж в заграничном журнале. Прямо из роскоши. Прямо из сказки. Он – упивался этой своей победой.

Он поведал мне, как происходило завоевание Елены.

Лимонов, заранее договорившись о задуманной им акции с приятелем-врачом из больницы Склифосовского, долго ждал Елену у двери её квартиры.

Было поздно. Елены всё не было.

Наконец она появилась – но не одна, а в сопровождении некоего популярного актёра, фамилию которого, из соображений тактичности, я называть не желаю.

Она появилась – и прежде всего удивилась: присутствию Эдика на лестничной клетке.

Пожав плечами, она открыла дверь. Пригласила провожатого своего, а с ним и Эдика, в квартиру.

Там Лимонов сразу же объяснился с ней.

Он потребовал взаимности – и сейчас же, вот здесь, да, прямо сейчас, не откладывая дела в долгий ящик.

Он желал незамедлительно жениться на Елене.

Он видел её и только её в роли своей супруги. Подумать только, с ума сойти, какая пара! Да вместе, вдвоём, они горы свернут! Жениться! Быть вместе! Рядом! Сочетаться браком! Венчаться! Он так решил. Так и будет.

Худая, намазанная, разрисованная, как японская кукла, в роскошном платье, разумеется, вся увешанная драгоценностями, ну прямо неземная – и всё-таки такая близкая, почти доступная, вполне реальная, тронь рукой – вот она, здесь, Елена стояла посреди комнаты и недоумённо его слушала.

Эдик – требовал, Эдик – взывал, Эдик – вёл речь на повышенных тонах.

Ничего на Елену не действовало. Как стояла себе, вся разряженная, выкатив круглые птичьи глазки, так и стояла. Слушала – но не внимала призывам. Заклинания все лимоновские – как об стенку горохом. Непробиваемая мадам. А может быть, просто неживая? Кукла просто? Манекен? Почему она равнодушна к объяснению пылкому в беспредельной любви?

Тогда Лимонов эффектно выхватил из кармана припасённый нож – возможно, согласно детской присказке «вышел ёжик из тумана, вынул ножик из кармана: буду резать, буду бить – с кем ты хочешь подружить?» – прицелился, размахнулся, по-разбойничьи, лихо, – и с маху всадил одним ударом всё сразу разрешающее острое лезвие прямо в живот Елениной кошке.

Брызнула кровь. Натуральная. Красная.

Кошка завертелась юлой, заорала, сникла, рухнула на пол.

Раскрашенная Елена всплеснула худыми руками, завизжала, заголосила.

Актёр-ухажёр не знал, что и делать. На всякий случай, бочком, тишком, стал он помаленьку подбираться к входной двери.

И тут Лимонов с размаху полоснул себя ножом по руке, по венам.

Кровища хлынула таким обильным ручьём, что это могло впечатлить даже каменное изваяние.

Бедный актёр в ужасе бежал – и отныне навсегда скрылся из Эдикова поля зрения.

Крови становилось всё больше. Было её почему-то так много, что, казалось, вскоре, уже совсем скоро, зальёт она всю квартиру, а потом просочится вниз, к соседям, а потом и сквозь этажи, и вырвется, плещась и рокоча, из подъезда, на улицу, и хлынет изо всех окон и дверей дома, и расплеснётся по асфальту, по тротуарам, потечёт по проезжей части улицы, и мчащиеся машины примутся месить её своими колёсами, и завязнут в ней, и начнут из неё выбираться, и бешено вращающиеся, окровавленные их колёса раскатятся по всей Москве.

Так могло померещиться бедной Елене.

Кровь лимоновская и не думала убывать.

Елена металась по квартире, бросалась то к двери, то к окнам, вопила, заламывала руки.

Любящий, бледный, истекающий кровью Лимонов стоял, глядя Елене прямо в глаза.

Наконец она догадалась вызвать скорую помощь. Мгновенно приехала машина, в которой находился бывший в сговоре с Эдиком приятель-врач. Помню, что была у него грузинская фамилия, да забыл какая.

Лимонова увезли в больницу Склифосовского – и там быстро спасли.

Потрясение всем увиденным и пережитым было у Елены настолько велико, что она, буквально на следующий день, согласилась стать женой Лимонова.

Только этого он и ждал. Он своего – добился.

Выслушал я этот рассказ без особого восторга.

– Зачем же ты кошку зарезал? – спросил я Эдика.

– Для дела, – спокойно ответил он. – Так всё получилось намного эффектнее!..

И я понял: он уже ни перед чем не остановится.

Когда-то он хотел стать вторым батькой Махно.

Потом – национальным героем.

Теперь – наверняка – он захочет покорить весь мир.

И ещё, чего доброго, – а скорее всего, так оно и будет, – возьмёт да и уедет на Запад, любым способом, – покорять мир. Время вскоре показало, что так всё и случилось.

Но кошку – даже для дела, даже для достижения пущего эффекта, даже для того, чтобы покорить сердце Елены, мнящейся ему, человеку с воображением, с фантазией, может быть, и прекрасной, и даже распрекрасной, – зарезал он зря.

– У кошки четыре ноги и один длинный хвост. Ты трогать её не моги за её малый рост! – не напрасно ведь пела когда-то в ресторане советским киношникам, выпив изрядно и преисполнившись любви к братьям нашим меньшим, особенно к кошке, олицетворявшей, наверное, саму нежность, доверчивость, кротость, а может, и душу ранимую, – подруга моя боевая, актриса Таня Гаврилова.

Пела Таня – взывая к людям. Пела – к совести их взывая.

Но её не услышали люди в ресторане. Что им до кошки! Пела Таня – куда-то в пространство. Пела Таня – сквозь время. Пела, защищая душу живую.

Но её не слышал Лимонов.

Никого – никогда – нигде – он не слышал. Вовсе не слушал. Пропускал призывы и плачи, как привык он, – мимо ушей.

Не трожь душу живую!

Не моги трогать кошку, Лимонов!

Но именно с этой зарезанной кошки вся грядущая лимоновская одиссея и началась.

Каждому – своё.

– Всякому городу нрав и права; всяка имеет свой ум голова; всякому сердцу своя есть любовь, всякому горлу свой есть вкус каков, а мне одна только в свете дума, а мне одно только не йдет с ума, – так сказал когда-то Григорий Сковорода.

Какая же это дума?

– А мне одна только в свете дума, как бы умерти мне не без ума.

Вот оно, стержневое мышление русское!

– Смерте страшна, замашная косо! Ты не щадиш и царских волосов, ты не глядиш, где мужик, а где царь, – всё жереш так, как солому пожар. Кто ж на ея плюет острую сталь? Тот, чия совесть, как чистый хрусталь...

Днём с огнём чистоты этой вскоре не наищутся по земле...

*Окончание в следующем номере.*